This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

PG
3337
P5Z88

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

А. Ѳ. ПИСЕМСКІЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

А. М. Скабичевскаго

съ портретомъ Писемскаго, гравированнымъ въ Лейпцигѣ Геданомъ

ЦѢНА 25 КОП.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ТИПОГРАФІЯ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА»

Бол. Подъяческая, 39

1894

91373

Cm
4837

2026/4

Дозв. цензуры СПБ. 8 ок. бря 1893 г.

Тип. Т-ва „Общ. польза“ В. Ф

А. Ѳ. Писемскій.

45

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

ИВ.-ЛИТ.

Skabichevskii, A.

А. Ѳ. ПИСЕМСКІЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

БИБЛІОТЕКА
Гос. Мн. Н. Мед.
Инст. Мн. Мед.
Сеч.
К.З.

46220.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

А. М. Скабичевскаго

Съ портретомъ Писемскаго, гравированнымъ въ Петербургѣ К. Адтомъ

ЦѢНА 25 КОП.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ТИПОГРАФІЯ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА»

Бол. Подъяческая, 39

1894

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 5-го Марта 1894 г.

P 7
P 258

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ГЛАВА I.

стр.

Происхожденіе Писемскаго.—Среда, въ которой онъ провелъ свое дѣтство и юность. — Дѣтскіе годы. — Домашнее воспитаніе. — Костромская гимназія и Московскій университетъ 5

ГЛАВА II.

Окончаніе университетскаго курса и вліяніе, оказанное на Писемскаго университетомъ. — Служебная дѣятельность и ея вліяніе на талантъ Писемскаго.—Сходство и различіе въ развитіи талантовъ Писемскаго и Салтыкова.—Романъ «Боярщина». — Повѣсть «Нина». —Женитьба Писемскаго и его семейная жизнь 22

ГЛАВА III.

Приглашеніе Писемскаго молодой редакціей «Москвитянина». — Повѣсти «Тюфякъ» и «Бракъ по страсти». —Впечатлѣніе, произведенное ими на современниковъ. — Безпринципность и пессимизмъ творчества Писемскаго подъ вліяніемъ провинціальной среды. —Отношеніе Писемскаго къ передовой интеллигенціи, къ типамъ рудинскому и печоринскому.—Эстетическія воззрѣнія Писемскаго и аналогія его жанра съ французскимъ натурализмомъ 34

ГЛАВА IV.

Литературная дѣятельность Писемскаго въ 1850 по 1853 годъ.— Переселеніе въ Петербургъ. — Характеристика Писемскаго

Имп. Б. Мос. Инст. Лит. Ист. Отд. БИБЛИОТЕКА

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 5-го Марта 1894 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ГЛАВА I.

стр.

Происхожденіе Писемскаго.—Среда, въ которой онъ провелъ свое дѣтство и юность. — Дѣтскіе годы. — Домашнее воспитаніе. — Костромская гимназія и Московскій университетъ 5

ГЛАВА II.

Окончаніе университетскаго курса и вліяніе, оказанное на Писемскаго университетомъ. — Служебная дѣятельность и ея вліяніе на талантъ Писемскаго.—Сходство и различіе въ развитіи талантовъ Писемскаго и Салтыкова.—Романъ «Боярщина».—Повѣсть «Нина».—Женитьба Писемскаго и его семейная жизнь 22

ГЛАВА III.

Приглашеніе Писемскаго молодой редакціей «Москвитянина».—Повѣсти «Тюфякъ» и «Бракъ по страсти».—Впечатлѣніе, произведенное ими на современниковъ. — Безпринципность и пессимизмъ творчества Писемскаго подъ вліяніемъ провинціальной среды.—Отношеніе Писемскаго къ передовой интеллигенціи, къ типамъ рудинскому и печоринскому.—Эстетическія воззрѣнія Писемскаго и аналогія его жанра съ французскимъ натурализмомъ 34

ГЛАВА IV.

Литературная дѣятельность Писемскаго въ 1850 и 1853 годъ.—*Переселеніе* въ Петербургъ. — Характеристика Писемскаго *

БИБЛИОТЕКА

стр.

П. В. Анненковымъ, какъ человѣка. - Мнительность Писемскаго.— Жизнь Писемскаго въ Петербургѣ въ 50-е годы. — Служба въ деп. удѣловъ. — Нужда. — Отношенія къ издателямъ. — Командировка въ Астрахань. - Переходъ въ «Библіотеку для Чтенія» и принятіе званія редактора этого журнала.—Романъ «Тысяча Душъ» 48

ГЛАВА V.

Разсказы изъ народнаго быта и комедія «Горькая Судьбина». - Причины непониманія Писемскимъ движенія 60-хъ годовъ и реакціонное направленіе его. — Полемика съ «Искрою». - Романъ «Взбаломученное Море» 65

ГЛАВА VI.

Послѣдній московскій періодъ жизни Писемскаго. — Его обезпеченіе. - Произведенія этого періода. — Паденіе таланта и популярности. - Болѣзни. — Юбилей двадцатипятилѣтія литературной дѣятельности Писемскаго. - Участіе въ празднествахъ по случаю открытія памятника Пушкину.—Смерть.—Мнѣніе П. В. Анненкова о Писемскомъ, какъ человѣкѣ и писателѣ. . . . 83

I.

Происхожденіе Писемскаго. — Среда, въ которой онъ провелъ свое дѣтство и юность. — Дѣтскіе годы. — Домашнее воспитаніе. — Костромская гимназія и Московскій университетъ.

Алексѣй Ѳеофилактовичъ Писемскій, одинъ изъ первостепенныхъ русскихъ писателей, принадлежитъ къ той плеядѣ беллетристовъ 40-хъ годовъ, которые, ведя свое происхожденіе отъ Гоголя, тѣмъ не менѣе пошли по совершенно самостоятельному пути и обогатили русскую литературу рядомъ могучихъ произведеній, сразу поставившихъ ее на одномъ уровнѣ со всѣми европейскими.

Беллетристы 40-хъ годовъ замѣчательны кромѣ того тѣмъ, что, сливаясь въ одну школу, они въ то же время не только не теряютъ своей индивидуальности, но, напротивъ того, каждый изъ нихъ представляетъ свой особенный типъ, совершенно самостоятельную и оригинальную художественную личность. То же самое слѣдуетъ сказать и о Писемскомъ.

Эта оригинальность каждаго изъ беллетристовъ 40-хъ годовъ, кромѣ разныхъ другихъ причинъ и обстоятельствъ, наиболѣе опредѣляется средою, изъ которой вышелъ тотъ или другой изъ нихъ, такъ какъ среда всегда налагаетъ рѣзкую и неизгладимую печать, какъ на характеры, такъ и на ходъ жизни историческихъ личностей. Принимая это во вниманіе, мы, прежде чѣмъ будемъ излагать факты жизни Писемскаго, скажемъ нѣсколько словъ о нравахъ той среды, изъ которой онъ вышелъ, убѣжденные, что такая характеристика послужитъ намъ путеводной звѣздой къ опредѣленію многихъ чертъ Писемскаго, какъ человѣка и писателя.

Итакъ, начнемъ съ того, что Писемскій по своему происхожденію принадлежитъ къ средѣ заходустнаго мелкопомѣстнаго дворянства, нравы котораго въ началѣ нынѣшняго столѣтія рѣзко

отличались отъ нравовъ всѣхъ прочихъ сословій, не исключая и богатаго дворянства.

Въ богатомъ дворянствѣ въ то время было средоточіе образованности и культурности русскаго общества. Стремленіе стоять на высотѣ европейской цивилизаціи, во всемъ походить на европейцевъ доходило въ этой средѣ порою до забвенія родного языка. Шикарство, комильфотство и стремленіе къ изысканной утонченности нравовъ составляло предметъ строгаго культа.

Въ то время, какъ увлеченіе передовыми идеями Запада вело здѣсь къ крайнему идеализму, доходившему до полной потери чутья дѣйствительности, легкая возможностъ удовлетворить всѣмъ прихотямъ на почвѣ крѣпостного права—обусловливала изнѣженность и распущенность нравовъ, мало уступавшія такимъже качествамъ французской знати эпохи регентства.

Совсѣмъ иное видимъ мы въ средѣ мелкопомѣстнаго дворянства. Малообразованность и грубость культуры доходили здѣсь порою до полной безграмотности, и если, по словамъ поэта, «бывало русскій генералъ служилъ и грамоты не зналъ», то чего-же было требовать отъ бѣдныхъ помѣщиковъ разныхъ медвѣжьихъ угловъ и степныхъ захолустій? Домостроевская строгость семейнаго быта шла здѣсь рука объ руку съ еще болѣе неумолимой суровостью по отношенію къ крѣпостнымъ, которыхъ у барина было немного, и потому всѣ они были наперечетъ, и баринъ имѣлъ возможность входить въ жизнь и интересы каждаго своего раба, и идеалъ его, какъ барина, заключался въ томъ, чтобы держать всѣхъ ихъ въ ежевыхъ рукавицахъ.

Скудость средствъ развивала здѣсь энергію борьбы за существованіе; некогда было идеальничать и заноситься за облака, въ опасности умереть съ голода, и на сцену являлись трезвая практичность, скопидомство, доходившее порой до черстваго кулачества и скаредства. Матеріальные разсчеты преобладали здѣсь во всѣхъ вопросахъ жизни; даже и женились по большей части на основаніи таблички сложенія, такъ какъ 50 душъ крестьянъ плюсъ еще 50 составляли 100 и удваивали состояніе.

Но за то, при вѣрности праотческимъ традиціямъ, здѣсь болѣе сохранялись своеобразныя черты русской жизни. Бѣдный помѣщикъ ближе стоялъ къ крестьянину, чѣмъ его богатый сосѣдъ. *Жизнь была проще*, нравы чище; чаще встрѣчались непосредственно *честные и прямодушные* люди, закаленные въ суровомъ опы-

тѣ жизни. А если наблюдался здѣсь и развратъ, то и послѣдній имѣлъ свой особенный характеръ: французскія кокотки замѣнялись доморощенными Маланьями и Парашами, на которыхъ порою одинокіе холостяки или вдовцы женились; шампанскому-же предпочитали отечественную сивуху, вслѣдствіе чего въ мелкопомѣстной средѣ при скудости умственныхъ интересовъ и монотонности жизни были частыя проявленія мрачнаго запоя.

Чухломскій уѣздъ Костромской губерніи, мѣсто родины Писемскаго, былъ именно однимъ изъ тѣхъ трущобныхъ захолустій, гдѣ нравы мелкопомѣстнаго дворянства сохранились въ 20-ые годы нынѣшняго столѣтія во всей своей неприкосновенности.

«Я происхожу—сообщаетъ Писемскій въ оставшейся послѣ него автобіографіи — отъ стариннаго дворянскаго рода. Одинъ изъ предковъ моихъ, нѣкто дьякъ Писемскій, былъ посылаемъ царемъ Іоанномъ Грознымъ, въ качествѣ посла, въ Лондонъ для осмотра племянницы королевы Елизаветы, на каковой племянницѣ царь предполагалъ жениться. Другой предокъ мой изъ рода Писемскихъ пошелъ въ монастырь и удостоился быть причисленнымъ къ лику святыхъ, въ сонмѣ которыхъ до сихъ поръ именуется Макаріемъ Писемскимъ, а мощи его почіютъ въ Макарьевскомъ, на рѣкѣ Унжѣ, монастырѣ. Вотъ и вся историческая слава моего рода. Позднѣйшіе Писемскіе, о которыхъ я слыхалъ, были по большей части люди богатые; но та ближайшая вѣтвь, отъ которой собственно я происхожу, была совершенно захудалая: дѣдъ мой былъ безграмотенъ, ходилъ въ лаптяхъ и самъ пахалъ землю. Богатый родственникъ его, малороссійскій помѣщикъ, взялся устроить судьбу отца моего, Ѳеофилакта Гавриловича Писемскаго, которому тогда было четырнадцать лѣтъ Устройство судьбы ребенка состояло въ томъ, что отца моего пообмыли, пообшили, выучили грамотѣ и опредѣлили солдатомъ въ войска, пошедшія завоевывать Крымъ.

«Прослуживъ лѣтъ тридцать въ дѣйствующей арміи, отецъ мой уже въ чинѣ маіора нашелъ возможность побывать на родинѣ, т. е. въ Костромской губерніи, которая отстояла отъ Кавказа на двѣ тысячи почти верстъ; но онъ тѣмъ не менѣе бо́льшую часть пути совершилъ въ сопровожденіи четырехъ деньщиковъ верхомъ, находя ѣзду въ экипажѣ совершенно для себя непріятной и очень безпокойной. На родинѣ ему пришлось жениться на моей матери изъ довольно достаточнаго семейства Шиповыхъ.

Отцу моему въ это время было лѣтъ сорокъ-пять, а матери—тридцать-семь. Плодомъ этого брака, между прочими дѣтьми, былъ и я, родившійся въ 1820 году 10-го марта, въ усадьбѣ Раменье. Четверо дѣтей, бывшихъ передо мною, померли, а равно померли и бывшіе послѣ меня пять человѣкъ. Если дозволительно дѣтямъ произносить судъ надъ родителями, то я могу такимъ образомъ опредѣлить моего отца и мою мать. Отецъ мой въ полномъ смыслѣ былъ военный служака того времени, строгій исполнитель долга, умѣренный въ своихъ привычкахъ до пуризма, человѣкъ неподкупной честности въ смыслѣ денежномъ и вмѣстѣ съ тѣмъ суровый и строгій къ подчиненнымъ,—наши крѣпостные люди его трепетали, но только дураки и лѣнтяи, а умныхъ и дѣльныхъ онъ даже баловалъ иногда.

«Мать моя была совершенно иныхъ свойствъ: нервная, мечтательная, тонко-умная и при всей недостаточности воспитанія прекрасно говорившая и весьма любившая общительность. Собою она, за исключеніемъ весьма умныхъ глазъ, была нехороша, и по поводу ея наружности покойный отецъ мой, когда я былъ уже студентомъ, имѣлъ со мною такого рода бесѣду:

— «Скажи мнѣ, Алексѣй, отчего это мать твоя чѣмъ дальше живетъ, тѣмъ красивѣе становится?

— «Оттого, папенька, что у маменьки много душевной красоты, которая съ годами все больше и больше выступаетъ.

«Отецъ согласился со мною».

Вотъ что сообщаетъ Писемскій въ автобіографіи о своемъ дѣтствѣ:

«По разсказамъ, я росъ очень болѣзненно въ раннемъ дѣтствѣ и ужасно капризничалъ: то у меня являлась страсть сосать сафьянные башмаки, то требовалъ грязной воды, въ которой меня мыли, то требовалъ куска, который отецъ проглотилъ; былъ даже, говорятъ, лунатикъ, такъ что меня лавливали входящимъ на чердакъ. Всѣ эти продѣлки мои не помѣшали мнѣ однако сдѣлаться какимъ-то божкомъ для отца и матери, да сверхъ того еще для двухъ тетокъ, барышень Шиповыхъ, невышедшихъ замужъ, которыя, непремѣнно предполагая сдѣлать меня своимъ наслѣдникомъ, пылали ко мнѣ какою-то материнской любовью, такъ что между сосѣднимъ дворянствомъ говорили, что у меня не одна мать, а три.

«*Сначала* дѣтство мое, до десяти лѣтъ, я провелъ въ маленькомъ *уѣздномъ городкѣ* (Ветлугѣ), куда отецъ мой опредѣленъ

былъ отъ комитета о раненыхъ городничимъ. Воспоминанія о житьѣ въ этомъ городкѣ у меня остались какія-то планетныя: помню я нашъ домъ, довольно большой, съ мезониномъ, гдѣ обиталъ я; помню полъ, очень не гладкій, играя на которомъ, я занаживалъ себѣ руки; помню высокую бѣлую церковь, а въ ней рыжаго протопопа Копосова; помню кадку изъ подъ стрехи, въ которой нянька меня купала; а больше всего помню ясные, свѣтлые дни и большую рѣку, къ которой меня нянька никогда близко не подпускала. Затѣмъ я уже жилъ въ настоящей деревнѣ, куда переселились мои родители. Особенно рѣзокъ и шаловливъ, по словамъ всѣхъ, я не былъ, но всегда любилъ устраивать игры въ попы (т. е. представлять, какъ попы служатъ), въ лошади, пахалъ грядки, сидѣлъ на лабазѣ, подстерегая медвѣдя. Словомъ, описаніе моего дѣтства находится въ «Людяхъ сороковыхъ годовъ», въ главѣ 2-й».

Обращаясь, по указанію Писемскаго, ко второй главѣ его вышеназваннаго романа, мы дѣйствительно видимъ рядъ весьма живыхъ сценъ изъ дѣтства героя романа Паши. Описывается, какъ Паша со своимъ товарищемъ, дворовымъ мальчикомъ Титкой, и собакою Куцкой бѣгали за зайцемъ, какъ медвѣдь утащилъ у отца лучшую корову, а егерь Яковъ Сафонычъ подстерегъ и убилъ медвѣдя, къ несказанному удовольствію мальчика, котораго едва отецъ могъ удержать отъ участія въ охотѣ егеря. Подросши, мальчикъ выучился верховой ѣздѣ и до страсти полюбилъ ее.

«Главное удовольствіе при этомъ — читаемъ мы въ романѣ—доставляли ему опасность и могущество власти надъ лошадью. Онъ одинъ-одинехонекъ уѣзжалъ верстъ за семь черезъ довольно большой лѣсъ; кругомъ тишина, ни души человѣческой, и только что-то поскрипываетъ и потрескиваетъ по сторонамъ. Лошадь идетъ, навостривъ уши, вздрагивая и какъ бы прислушиваясь къ чему-то. Но вотъ огромная глинистая гора; Павелъ слегка только сдерживаетъ поводья. Лошадь осторожнѣйшимъ образомъ сходитъ съ горы, немного присѣдая назадъ и скользя копытами по глинѣ; Павелъ убѣжденъ, что это онъ ее такъ выѣздилъ. За горой надобно проѣхать черезъ довольно крутой мостъ; на серединѣ его большая дыра. Павелъ нарочно погоняетъ лошадь и направляетъ ее на эту дыру; но она ее перескакиваетъ Слѣдующую рѣчку Павелъ рѣшился переѣхать въ бродъ. Рѣченка тоже пѣнится и шумитъ; лошадь немножко заартачилась; Павелъ смѣло пукаетъ ее; лошадь осторожно входитъ въ воду. На серединѣ рѣки ей захотѣлось напиться, и для этого она вдругъ опустила голову; но Павелъ дернулъ поводьями и даже выругался: «Ну, чортъ, запалишься!» Въ такого рода приключеніяхъ онъ доѣзжаетъ до села, объѣзжаетъ тамъ кругомъ церковной ограды, кланяется съ сидящею у окна матуш-

отличались отъ нравовъ всѣхъ прочихъ сословій, не исключая и богатаго дворянства.

Въ богатомъ дворянствѣ въ то время было средоточіе образованности и культурности русскаго общества. Стремленіе стоять на высотѣ европейской цивилизаціи, во всемъ походить на европейцевъ доходило въ этой средѣ порою до забвенія родного языка. Шикарство, комильфотство и стремленіе къ изысканной утонченности нравовъ составляло предметъ строгаго культа.

Въ то время, какъ увлеченіе передовыми идеями Запада вело здѣсь къ крайнему идеализму, доходившему до полной потери чутья дѣйствительности, легкая возможность удовлетворить всѣмъ прихотямъ на почвѣ крѣпостного права—обусловливала изнѣженность и распущенность нравовъ, мало уступавшія такимъже качествамъ французской знати эпохи регентства.

Совсѣмъ иное видимъ мы въ средѣ мелкопомѣстнаго дворянства. Малообразованность и грубость культуры доходили здѣсь порою до полной безграмотности, и если, по словамъ поэта, «бывало русскій генералъ служилъ и грамоты не зналъ», то чего-же было требовать отъ бѣдныхъ помѣщиковъ разныхъ медвѣжьихъ угловъ и степныхъ захолустій? Домостроевская строгость семейнаго быта шла здѣсь рука объ руку съ еще болѣе неумолимой суровостью по отношенію къ крѣпостнымъ, которыхъ у барина было немного, и потому всѣ они были наперечетъ, и баринъ имѣлъ возможность входить въ жизнь и интересы каждаго своего раба, и идеалъ его, какъ барина, заключался въ томъ, чтобы держать всѣхъ ихъ въ ежевыхъ рукавицахъ.

Скудость средствъ развивала здѣсь энергію борьбы за существованіе; некогда было идеальничать и заноситься за облака, въ опасности умереть съ голода, и на сцену являлись трезвая практичность, скопидомство, доходившее порой до черстваго кулачества и скаредства. Матеріальные разсчеты преобладали здѣсь во всѣхъ вопросахъ жизни; даже и женились по большей части на основаніи таблички сложенія, такъ какъ 50 душъ крестьянъ плюсъ еще 50 составляли 100 и удваивали состояніе.

Но за то, при вѣрности праотческимъ традиціямъ, здѣсь болѣе сохранялись своеобразныя черты русской жизни. Бѣдный помѣщикъ ближе стоялъ къ крестьянину, чѣмъ его богатый сосѣдъ. *Жизнь была проще, нравы* чище; чаще встрѣчались непосредственно *честные и прямодушные* люди, закаленные въ суровомъ опы-

тѣ жизни. А если наблюдался здѣсь и развратъ, то и послѣдній имѣлъ свой особенный характеръ: французскія кокотки замѣнялись доморощенными Маланьями и Парашами, на которыхъ порою одинокіе холостяки или вдовцы женились; шампанскому-же предпочитали отечественную сивуху, вслѣдствіе чего въ мелкопомѣстной средѣ при скудости умственныхъ интересовъ и монотонности жизни были частыя проявленія мрачнаго запоя.

Чухломскій уѣздъ Костромской губерніи, мѣсто родины Писемскаго, былъ именно однимъ изъ тѣхъ трущобныхъ захолустій, гдѣ нравы мелкопомѣстнаго дворянства сохранились въ 20-ые годы нынѣшняго столѣтія во всей своей неприкосновенности.

«Я происхожу—сообщаетъ Писемскій въ оставшейся послѣ него автобіографіи — отъ стариннаго дворянскаго рода. Одинъ изъ предковъ моихъ, нѣкто дьякъ Писемскій, былъ посылаемъ царемъ Іоанномъ Грознымъ, въ качествѣ посла, въ Лондонъ для осмотра племянницы королевы Елизаветы, на каковой племянницѣ царь предполагалъ жениться. Другой предокъ мой изъ рода Писемскихъ пошелъ въ монастырь и удостоился быть причисленнымъ къ лику святыхъ, въ сонмѣ которыхъ до сихъ поръ именуется Макаріемъ Писемскимъ, а мощи его почіютъ въ Макарьевскомъ, на рѣкѣ Унжѣ, монастырѣ. Вотъ и вся историческая слава моего рода. Позднѣйшіе Писемскіе, о которыхъ я слыхалъ, были по большей части люди богатые; но та ближайшая вѣтвь, отъ которой собственно я происхожу, была совершенно захудалая: дѣдъ мой былъ безграмотенъ, ходилъ въ лаптяхъ и самъ пахалъ землю. Богатый родственникъ его, малороссійскій помѣщикъ, взялся устроить судьбу отца моего, Ѳеофилакта Гавриловича Писемскаго, которому тогда было четырнадцать лѣтъ Устройство судьбы ребенка состояло въ томъ, что отца моего пообмыли, пообшили, выучили грамотѣ и опредѣлили солдатомъ въ войска, пошедшія завоевывать Крымъ.

«Прослуживъ лѣтъ тридцать въ дѣйствующей арміи, отецъ мой уже въ чинѣ маіора нашелъ возможность побывать на родинѣ, т. е. въ Костромской губерніи, которая отстояла отъ Кавказа на двѣ тысячи почти верстъ; но онъ тѣмъ не менѣе бо́льшую часть пути совершилъ въ сопровожденіи четырехъ деньщиковъ верхомъ, находя ѣзду въ экипажѣ совершенно для себя непріятной и очень безпокойной. На родинѣ ему пришлось жениться *на моей матери* изъ довольно достаточнаго семейства Шиповыхъ

Отцу моему въ это время было лѣтъ сорокъ-пять, а матери—тридцать-семь. Плодомъ этого брака, между прочими дѣтьми, былъ и я, родившійся въ 1820 году 10-го марта, въ усадьбѣ Раменье. Четверо дѣтей, бывшихъ передо мною, померли, а равно померли и бывшіе послѣ меня пять человѣкъ. Если дозволительно дѣтямъ произносить судъ надъ родителями, то я могу такимъ образомъ опредѣлить моего отца и мою мать. Отецъ мой въ полномъ смыслѣ былъ военный служака того времени, строгій исполнитель долга, умѣренный въ своихъ привычкахъ до пуризма, человѣкъ неподкупной честности въ смыслѣ денежномъ и вмѣстѣ съ тѣмъ суровый и строгій къ подчиненнымъ,—наши крѣпостные люди его трепетали, но только дураки и лѣнтяи, а умныхъ и дѣльныхъ онъ даже баловалъ иногда.

«Мать моя была совершенно иныхъ свойствъ: нервная, мечтательная, тонко-умная и при всей недостаточности воспитанія прекрасно говорившая и весьма любившая общительность. Собою она, за исключеніемъ весьма умныхъ глазъ, была нехороша, и по поводу ея наружности покойный отецъ мой, когда я былъ уже студентомъ, имѣлъ со мною такого рода бесѣду:

— «Скажи мнѣ, Алексѣй, отчего это мать твоя чѣмъ дальше живетъ, тѣмъ красивѣе становится?

— «Оттого, папенька, что у маменьки много душевной красоты, которая съ годами все больше и больше выступаетъ.

«Отецъ согласился со мною».

Вотъ что сообщаетъ Писемскій въ автобіографіи о своемъ дѣтствѣ:

«По разсказамъ, я росъ очень болѣзненно въ раннемъ дѣтствѣ и ужасно капризничалъ: то у меня являлась страсть сосать сафьянные башмаки, то требовалъ грязной воды, въ которой меня мыли, то требовалъ куска, который отецъ проглотилъ; былъ даже, говорятъ, лунатикъ, такъ что меня лавливали входящимъ на чердакъ. Всѣ эти продѣлки мои не помѣшали мнѣ однако сдѣлаться какимъ-то божкомъ для отца и матери, да сверхъ того еще для двухъ тетокъ, барышень Шиповыхъ, невышедшихъ замужъ, которыя, непремѣнно предполагая сдѣлать меня своимъ наслѣдникомъ, пылали ко мнѣ какою-то материнской любовью, такъ что между сосѣднимъ дворянствомъ говорили, что у меня не одна мать, *а три.*

«*Сначала дѣтство мое,* до десяти лѣтъ, я провелъ въ маленькомъ *уѣздномъ городкѣ* (Ветлугѣ), куда отецъ мой опредѣленъ

былъ отъ комитета о раненыхъ городничимъ. Воспоминанія о житьѣ въ этомъ городкѣ у меня остались какія-то планетныя: помню я нашъ домъ, довольно большой, съ мезониномъ, гдѣ обиталъ я; помню полъ, очень не гладкій, играя на которомъ, я занаживалъ себѣ руки; помню высокую бѣлую церковь, а въ ней рыжаго протопопа Копосова; помню кадку изъ подъ стрехи, въ которой нянька меня купала; а больше всего помню ясные, свѣтлые дни и большую рѣку, къ которой меня нянька никогда близко не подпускала. Затѣмъ я уже жилъ въ настоящей деревнѣ, куда переселились мои родители. Особенно рѣзокъ и шаловливъ, по словамъ всѣхъ, я не былъ, но всегда любилъ устраивать игры въ попы (т. е. представлять, какъ попы служатъ), въ лошади, пахалъ грядки, сидѣлъ на лабазѣ, подстерегая медвѣдя. Словомъ, описаніе моего дѣтства находится въ «Людяхъ сороковыхъ годовъ», въ главѣ 2-й».

Обращаясь, по указанію Писемскаго, ко второй главѣ его вышеназваннаго романа, мы дѣйствительно видимъ рядъ весьма живыхъ сценъ изъ дѣтства героя романа Паши. Описывается, какъ Паша со своимъ товарищемъ, дворовымъ мальчикомъ Титкой, и собакою Куцкой бѣгали за зайцемъ, какъ медвѣдь утащилъ у отца лучшую корову, а егерь Яковъ Сафонычъ подстерегъ и убилъ медвѣдя, къ несказанному удовольствію мальчика, котораго едва отецъ могъ удержать отъ участія въ охотѣ егеря. Подросши, мальчикъ выучился верховой ѣздѣ и до страсти полюбилъ ее.

«Главное удовольствіе при этомъ — читаемъ мы въ романѣ—доставляли ему опасность и могущество власти надъ лошадью. Онъ одинъ-одинехонекъ уѣзжалъ верстъ за семь черезъ довольно большой лѣсъ; кругомъ тишина, ни души человѣческой, и только что-то поскрипываетъ и потрескиваетъ по сторонамъ. Лошадь идетъ, навостривъ уши, вздрагивая и какъ бы прислушиваясь къ чему-то. Но вотъ огромная глинистая гора; Павелъ слегка только сдерживаетъ поводья. Лошадь осторожнѣйшимъ образомъ сходитъ съ горы, немного присѣдая назадъ и скользя копытами по глинѣ; Павелъ убѣжденъ, что это онъ ее такъ выѣздилъ. За горой надобно проѣхать черезъ довольно крутой мостъ; на серединѣ его большая дыра. Павелъ нарочно погоняетъ лошадь и направляетъ ее на эту дыру; но она ее перескакиваетъ Слѣдующую рѣчку Павелъ рѣшился переѣхать въ бродъ. Рѣченка тоже пѣнится и шумитъ; лошадь немножко заартачилась; Павелъ смѣло пукаетъ ее; лошадь осторожно входитъ въ воду. На серединѣ рѣки ей захотѣлось напиться, и для этого она вдругъ опустила голову; но Павелъ дернулъ поводьями и даже выругался: «Ну, чортъ, запалишься!» Въ такого рода приключеніяхъ онъ доѣзжаетъ до села, объѣзжаетъ *тамъ кругомъ* церковной ограды, кланяется съ сидящею у окна матуш-

кой-попадьей и, видимо гарцуя передъ нею, проскакиваетъ село и возвращается домой».

Выпросивши у отца ружье, мальчикъ почти каждый день началъ въ сопровожденіи Титки и Куцки ходить на охоту:

«Охотникомъ искуснымъ онъ не сдѣлался; но зато привыкъ рано вставать и смѣло ходить по лѣсамъ. Какихъ онъ не видалъ высокихъ деревьевъ, какихъ передъ нимъ не открывалось разнообразныхъ и красивыхъ лощинъ! Утомившись, онъ очень любилъ лечь гдѣ-нибудь на травѣ вверхъ лицомъ и смотрѣть на небо. И вдругъ ему начинало представляться, что оно у него какъ бы внизу, самыя деревья какъ будто бы растутъ внизъ и вершины ихъ словно купаются въ воздухѣ, — а онъ лежитъ на землѣ потому только, что къ ней чѣмъ-то прикрѣпленъ; но уничтожься эта связь, и онъ упадетъ туда, внизъ, въ небо. Павлу дѣлалось при этомъ и страшно, и весело»...

Проводя такимъ образомъ дѣтство подъ бодрящими и закаляющими тѣлесно и душевно впечатлѣніями деревенской жизни, Писемскій получилъ въ эти годы то скудное образованіе на мѣдныя деньги, какое въ то время было свойственно средѣ мелкопомѣстнаго дворянства. Вотъ что говоритъ онъ въ романѣ «Люди сороковыхъ годовъ» о воспитаніи героя Паши:

«По случаю безвыѣздной деревенской жизни отца, наставниками его пока были: приходскій дьяконъ, который версты за три бѣгалъ каждый день поучать его часа два; потомъ былъ взятъ къ нему разстрига-попъ, но оказался ужъ очень сильнымъ пьяницей; наконецъ училъ его старичекъ, переѣзжавшій нѣсколько десятковъ лѣтъ отъ одного помѣщика къ другому и переучившій по крайней мѣрѣ поколѣнія четыре. Какъ ни плохи были такого рода наставники, но все-таки учили его дѣлу: читать, писать, ариѳметикѣ, грамматикѣ, латинскому языку. У него никогда не было никакой гувернантки, изобрѣтающей приличныя для его возраста causeries съ нимъ; ему никогда и никто не читалъ дѣтскихъ книжекъ, а онъ прямо схватился за кой-какіе романы и путешествія, которые нашелъ на полкѣ у отца въ кабинетѣ; словомъ, ничто какъ бы не лелѣяло и не поддерживало въ немъ дѣтскаго возраста, а скорѣй игра и ученіе все задавали ему задачи больше его лѣтъ».

Почти то же говоритъ онъ о своемъ воспитаніи въ домѣ отца и въ своей автобіографіи:

«Учиться меня особенно не нудили, да я и самъ не очень любилъ учиться; но зато читать и читать, особенно романы, любилъ до страсти: до четырнадцатилѣтняго возраста я уже прочелъ, въ переводѣ разумѣется, большую часть романовъ Вальтеръ-Скотта, «Донъ-Кихота», «Фоблаза», «Жильблаза», «Хромого Бѣса», «Серапіоновыхъ братьевъ»—Гофмана, персидскій романъ

«Хаджи-Баба»; дѣтскихъ же книгъ я всегда терпѣть не могъ и, сколько припоминаю теперь, всегда ихъ находилъ очень глупыми.

«Наставники у меня были очень плохи и все русскіе. Въ дѣтствѣ я, кромѣ латинскаго языка, никакому новому языку не учился, что̀ мнѣ впослѣдствіи приносило и даже до сихъ поръ приноситъ большой вредъ. Тщетно я въ гимназіи и въ университетѣ старался познакомиться съ французскимъ и нѣмецкимъ языками, которымъ впрочемъ въ нѣкоторой степени и выучивался, но только не надолго: не проходило и полугода, какъ я забывалъ языкъ. Вообще кажется у меня очень слаба способность къ языкамъ, къ исторіи и къ естественнымъ наукамъ; тогда какъ къ наукамъ философскимъ, т. е. къ математикѣ, къ метафизикѣ, къ логикѣ, эстетикѣ, этикѣ—я весьма склоненъ».

«Въ 1834 году, т. е. когда мнѣ было четырнадцать лѣтъ, меня отдали въ Костромскую гимназію, во второй классъ. Учиться тамъ я началъ понятливо и довольно прилежно, но гораздо бо̀льшую стяжалъ себѣ славу на актерскомъ поприщѣ».

Обращаясь затѣмъ къ роману «Люди сороковыхъ годовъ», въ которомъ авторъ описалъ все свое дѣтство, мы видимъ, что отецъ Писемскаго самъ свезъ сына въ Кострому, гдѣ и помѣстилъ его на частную квартиру въ большомъ каменномъ запущенномъ помѣщичьемъ домѣ, въ довольно глухомъ переулкѣ. На пожелтѣлой крышѣ его во многихъ мѣстахъ росла трава; штукатурка и разныя украшенія наружныхъ стѣнъ обвалились. Въ верхнемъ этажѣ нѣкоторыя окна были съ выбитыми стеклами, а въ другихъ стекла были заплесневѣлыя, съ радужными отливами; въ нижнемъ этажѣ ихъ закрывали тяжелые ставни. Къ главному подъѣзду вели желѣзныя ворота, на которыхъ виднѣлся расколовшійся пополамъ гербъ фамиліи владѣльцевъ. Его держали два льва одинъ безъ головы, а другой—безъ всей задней части. Вмѣстѣ съ мальчикомъ, въ качествѣ тутора и репетитора, былъ помѣщенъ старшій его лѣтами гимназистъ Стойновскій, а въ прислуги имъ оставленъ дворовый парень лѣтъ 14-ти.

Разставаніе отца съ сыномъ было самое трогательное. Мальчикъ бросился къ отцу на шею, зарыдалъ на всю комнату и произнесъ со стономъ «папенька, другъ мой, не покидай меня на вѣки!» Старикъ застоналъ, зарыдалъ тоже. «Нѣтъ, не покину, не покину!...» бормоталъ онъ; потомъ, едва вырвавшись изъ объятій сына, сѣлъ въ экипажъ: у него голова даже не держалась хорошенько на плечахъ, а какъ будто болталась. «Папаша, папаша, милый!»

стоналъ мальчикъ. Старикъ махнулъ рукой и велѣлъ себя везти скорѣе; экипажъ уѣхалъ. Мальчикъ, какъ бы все ужъ похоронивъ на свѣтѣ, съ понуренной головой и весь въ слезахъ отправился въ комнаты... По крайней мѣрѣ съ мѣсяцъ послѣ разлуки съ отцомъ онъ тосковалъ о немъ.

Но вотъ начались уроки и потекла день за днемъ монотонная гимназическая жизнь, однообразіе которой нарушилось пріѣздомъ въ городъ бродячей труппы.

Актеры были крайне плохіе. Передѣланный изъ кожевеннаго завода театръ помѣщался гдѣ-то подъ землей, и сохранялся еще дубильный запахъ, которымъ пропитаны стѣны его. Зрителямъ, чтобы попасть въ партеръ, надобно было спуститься внизъ по крайней мѣрѣ сажени на двѣ. Тѣмъ не менѣе, когда Стойновскій предложилъ своему воспитаннику отправиться вмѣстѣ въ театръ на представленіе «Днѣпровской Русалки»,—мальчикъ былъ на седьмомъ небѣ. Его попреимуществу волновало то, что онъ слыхалъ названія: «сцена», «ложи», «партеръ», «занавѣсъ», но что такое собственно это было, и какъ все это соединить и расположить, онъ никакъ не могъ придумать того въ своемъ воображеніи. Заиграла музыка. Писемскій во всю жизнь свою, кромѣ одной скрипки и плохихъ фортепьянъ, не слыхалъ никакихъ инструментовъ; но теперь, при звукахъ довольно большого оркестра, у него какъ-бы вся кровь прилила къ сердцу; ему хотѣлось въ одно и то же время подпрыгивать и плакать. Занавѣсъ поднялся. Съ какой жадностью взоръ нашего юноши ушелъ въ эту таинственную глубь какой-то очень красивой рощи, сзади которой виднѣлся занавѣсъ съ Богъ знаетъ куда уходящей далью, а передъ нимъ что-то сѣрое шевелилось на полу—это была рѣка Днѣпръ!

И какъ ни плохи были лицедѣи, какъ ни убога вся обстановка провинціальнаго театра, юноша былъ какъ-бы въ туманѣ: весь этотъ театръ со всей обстановкой и всѣ испытанныя тамъ удовольствія показались ему какими-то необыкновенными, не воздушными, не на землѣ (а какъ было на самомъ дѣлѣ, подъ землею) существующими—какимъ-то пиромъ гномовъ, одуряющимъ, не дающимъ свободно дышать, но тѣмъ не менѣе очаровательнымъ и обольстительнымъ. Результатомъ того сильнаго впечатлѣнія, какое произвело на юношей это зрѣлище, было то, что на святкахъ они задумали устроить у себя на дому свой театръ.—Иниціатива принадлежала Стойновскому, какъ старшему возрастомъ. Онъ обладалъ искусствомъ въ рисованіи, которое помогло ему нарисовать

декораціи и занавѣсъ. Сценой и зрительной залой они избрали большую залу, бывшую въ опустѣвшемъ домѣ, гдѣ они обитали; употребили въ дѣло и найденную тамъ старинную мебель. Не меньшую изобрѣтательность оказалъ Стойновскій и въ составленіи костюмовъ изъ первыхъ имѣвшихся въ наличности матеріаловъ, гимназическихъ вещей, мундирчиковъ, конскихъ волосъ, бычачьихъ пузырей и т. п. Для представленія были избраны «Казакъ-стихотворецъ» и «Воздушные замки . Роль Маруси уговорили играть очень хорошенькаго собой гимназистика, который былъ въ гимназическихъ пѣвчихъ и имѣлъ превосходный тоненькій голосокъ. Одинъ изъ актеровъ, подвизавшійся на городскомъ театрѣ, былъ приглашенъ выучить юношей пѣть надлежащіе куплеты. Писемскій взялъ на себя роль Прудіуса въ «Казакѣ - стихотворцѣ». Въ назначенный день собралось столько публики, сколько могъ вмѣстить въ себѣ импровизированный театръ; публика состояла изъ гимназическихъ учителей и гимназистовъ съ ихъ родственниками. Спектакль сошелъ блистательно, причемъ Писемскій заткнулъ за поясъ своего товарища-тутора Стойновскаго, отличившись правдивостью и тактомъ въ исполненіи своей роли.

Эта удача имѣла два результата: во-первыхъ, самолюбіе Стойновскаго было такъ уязвлено неудачей на театрѣ, что онъ былъ почти не въ состояніи видѣть Писемскаго и уѣхалъ отъ него, оставивъ мальчика одного съ его дворовымъ парнемъ, и во-вторыхъ, Писемскій началъ воображать себя будущимъ великимъ актеромъ и, оставшись жить одинъ, нерѣдко передъ своимъ казачкомъ и сторожемъ дома старымъ инвалидомъ, декламировалъ, надѣвъ халатъ и подпоясавшись кушакомъ, изъ «Дмитрія Донского»:

«Россійскіе князья, бояре, воеводы,
«Прешедшіе чрезъ Донъ отыскивать свободы.

Или восклицалъ изъ Катенинскаго Корнеля, обращаясь къ инвалиду: «Иди ко мнѣ, столбъ царства моего!».

Вообще дѣтскія игры онъ совершенно покинулъ и повелъ «эстетическій образъ жизни», въ подражаніе своему дядѣ со стороны матери, Всеволоду Никитичу Бартеневу. Этотъ Бартеневъ, изображенный Писемскимъ въ романѣ «Люди сороковыхъ годовъ» въ лицѣ Эспера Ивановича, бывшій флотскій офицеръ, представлялъ собою весьма оригинальный типъ своего времени; это былъ байбакъ, Обломовъ, не сходившій съ своего дивана и въ то же время просвѣщенный любитель и знатокъ литературы и всѣхъ искусствъ,

энциклопедически образованный и горячій проповѣдникъ просвѣщенія. Онъ оказывалъ большое вліяніе на племянника во время гимназическихъ лѣтъ Писемскаго, снабжая его романами, журналами, путешествіями. Юноша съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе погружался въ чтеніе; часто ходилъ въ театръ; наконецъ задумалъ учиться музыкѣ. Въ домѣ, гдѣ онъ продолжалъ обитать, оказалось фортепьяно; онъ перенесъ его въ свою комнату, поправилъ и настроилъ на свои скудныя средства. Въ учителя онъ себѣ выбралъ, по случаю крайней дешевизны, того самаго актера, который дирижировалъ пѣніемъ въ гимназическомъ спектаклѣ. Онъ впрочемъ могъ растолковать Писемскому однѣ ноты; а затѣмъ Писемскій уже самъ сталъ разучивать, какъ Богъ на разумъ послалъ, небольшія пьески, и къ концу года онъ игралъ довольно бойко; у него даже нашелся обожатель его музыки, одинъ изъ товарищей, который прослушивалъ его иногда по цѣлымъ вечерамъ и совершенно искренно увѣрялъ, что такой игры на фортепіанахъ, съ подобной экспрессіей, онъ не слыхивалъ.

Обильное чтеніе не замедлило оказать свое вліяніе на воспріимчивую натуру юноши въ видѣ пробужденія въ немъ творчества. Въ этомъ отношеніи мы встрѣчаемъ въ романѣ «Люди сороковыхъ годовъ» характерный эпизодъ, который, подобно многимъ другимъ фактамъ дѣтства и юности героя романа, въ свою очередь могъ быть взятъ всецѣло изъ жизни самого автора. Такъ, Писемскій разсказываетъ, какъ герой его, Павелъ Вихровъ, сблизился съ учителемъ математики, хохломъ; вмѣстѣ они ходили на охоту, и учитель этотъ свободомысленными рѣчами возбудилъ въ юношѣ критическое отношеніе къ гимназическому начальству. «Всѣ эти толкованія, читаемъ мы въ романѣ, сильно запали въ молодую душу моего героя, и одно только врожденное чувство приличія останавливало его, что онъ не дѣлалъ съ начальствомъ сценъ и ограничивался въ отношеніи его глухой и затаенной ненавистью». Но не долго продолжалась эта сдержанность. Инспекторъ гимназіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ же учитель словесности, представлялъ собою креатуру директора, такъ какъ послѣдній возвелъ его въ инспекторскій санъ, благодаря тому, что тотъ сошелся съ его дочерью и долженъ былъ жениться на ней.

«Передъ экзаменами—читаемъ мы въ романѣ — инспекторъ-учитель задалъ имъ сочиненіе на тему «Великій человѣкъ». По словесности Вихровъ тоже былъ первый, потому что прекрасно зналъ реторику и логику и кромѣ того сочинялъ прекрасно. Счастливая мысль мелькнула въ его головѣ; давно уже желая высказать то, что наболѣло

у него на сердцѣ, онъ подошелъ къ учителю и спросилъ его: можно ли, вмѣсто заданной имъ темы, написать на тему: «*Случайный человѣкъ*». «Напишите!» отвѣчалъ тотъ, вовсе не понявъ его намѣренія. Павелъ пришелъ и въ одну ночь накаталъ сочиненіе. О, какимъ огнемъ негодованія горѣлъ онъ при этомъ! Онъ писалъ: «народы образованные болѣе всего цѣнятъ въ гражданахъ своихъ достоинства. Всѣ великіе люди Греціи были велики и по душевнымъ своимъ свойствамъ. У народовъ же необразованныхъ гораздо болѣе успѣваютъ лесть и низость; вотъ откуда происходитъ *случайный человѣкъ!* Онъ можетъ не имѣть никакихъ личныхъ достоинствъ, и на высшую степень общественныхъ почестей возводится только слѣпымъ случаемъ! Торговецъ блинами становится корыстолюбивымъ государственнымъ мужемъ, лакей—графомъ, пѣвчій—знатной особой.

«Сочиненіе это произвело, какъ и надо ожидать, страшное дѣйствіе... Инспекторъ-учитель показалъ его директору; тотъ — женѣ; жена велѣла выгнать Павла изъ гимназіи. Директоръ, очень добрый въ сущности человѣкъ, поручилъ это исполнить зятю. Тотъ, собравъ совѣтъ учителей, и, блѣдный, съ дрожащими руками, прочелъ ареопагу злокачественное сочиненіе; учителя, которые были помоложе, потупили головы, а отецъ Никита произнесъ, хохоча себѣ подъ носъ:

— Сатирикъ! Какъ же, вѣдь всѣ они у насъ сатирики!

— Я полагаю, господа, выгнать его надо? обратился инспекторъ-учитель къ совѣту.

— Это очень ужъ жестоко, послышалось легкое бормотанье между учителями помоложе.

— Зачѣмъ же ему учиться, вѣдь ужъ онъ сочинитель!.. подхватилъ, опять смѣясь, отецъ Никита .

Насилу успѣлъ отстоять своего друга все тотъ-же учитель математики, который былъ виновникомъ подобнаго настроенія юноши.

Очень вѣроятно, что нѣчто подобное случилось въ гимназіи и съ самимъ Писемскимъ. Въ автобіографіи-же своей онъ о началѣ развитія своей писательской способности говоритъ кратко: «въ пятомъ классѣ я былъ признанъ учителемъ словесности прекраснымъ талантомъ, въ шестомъ классѣ я уже написалъ повѣсть, назвавъ ее «Черкешенкой», а въ седьмомъ сочинилъ еще бо́льшую повѣсть «Чугунное кольцо», которыя вѣроятно отличались болѣе стилемъ, такъ какъ я въ нихъ описывалъ такія сферы, которыя совершенно были для меня невѣдомы».

Въ романѣ «Люди сороковыхъ годовъ» писаніе этой повѣсти находится въ связи съ первой романтической любовью героя къ кузинѣ Мери, бывшей конечно уже значительно старше его возрастомъ и относившейся къ нему, какъ къ мальчику.

«Вскорѣ послѣ того — читаемъ мы — Павелъ сдѣлался боленъ, и *ему не велѣно* выходить изъ дому. Скука имъ овладѣла до неистов-

ства—и главное отъ того, что онъ не могъ видѣться съ Мери. Оставаясь почти цѣлые дни одинъ-одинешенекъ, онъ передумалъ и перемечталъ обо всемъ; наконецъ, чтобы чѣмъ-нибудь себя занять, вздумалъ сочинять повѣсть, и для этого сшилъ себѣ толстую тетрадь и прямо на ней написалъ заглавіе своему произведенію: «*Чугунное кольцо*». Героемъ своей повѣсти онъ вывелъ казака, по фамиліи *Ятвасъ*. Въ фамиліи этой Павелъ хотѣлъ намекнуть на молодцоватую наружность казака, которою онъ какъ бы говорилъ: «*я васъ!*», и чтобы замаскировать это, вставилъ букву *т*. Ятвасъ этотъ влюбился въ губернскомъ городѣ въ одну даму и ее влюбилъ въ самого себя. Въ концѣ повѣсти у нихъ произошло рандеву въ бесѣдкѣ на губернскомъ бульварѣ. Дама призналась Ятвасу въ любви и хотѣла подарить ему на память чугунное кольцо; но по этому кольцу Ятвасъ узнаетъ, что это была родная сестра его, съ которой онъ разстался еще въ дѣтствѣ; обоюдный ужасъ и—послѣ этого казакъ уѣзжаетъ на Кавказъ и тамъ его убиваютъ, а дама постригается въ монахини».

Не ограничиваясь чтеніемъ этой повѣсти своей кузинѣ, Писемскій посылалъ ее въ редакцію столичной прессы, но повѣсть принята не была.

Въ 1840 году Писемскій кончилъ гимназическій курсъ и вознамѣрился ѣхать въ Московскій университетъ, выдержавши при этомъ, если судить по роману «Люди сороковыхъ годовъ», не малую борьбу съ отцомъ, который требовалъ, чтобы сынъ поступилъ въ Демидовскій лицей. на тѣхъ основаніяхъ, что тамъ сынъ учился бы и содержался на казенный счетъ въ закрытомъ пансіонѣ, подъ присмотромъ начальства, и былъ бы несравненно ближе къ родительской усадьбѣ, такъ что за нимъ ничего не стоило бы на каникулахъ прислать лошадей. Но сынъ поставилъ на своемъ и поступилъ-таки въ Московскій университетъ на математическій факультетъ.

Въ своей автобіографіи Писемскій считаетъ выборъ факультета какъ нельзя болѣе удачнымъ, хотя и не находитъ, чтобы университетское образованіе дало ему очень много. «Будучи—говоритъ онъ—большимъ фразеромъ, я въ этомъ случаѣ благодарю Бога, что избралъ математическій факультетъ, который сразу-же отрезвилъ меня и сталъ пріучать говорить только то, что́ самъ ясно понималъ. Но этимъ, кажется, только и кончилось благодѣтельное вліяніе университета. Научныхъ свѣдѣній изъ моего собственнаго факультета я пріобрѣлъ немного».

Правда, если и вообще математическіе факультеты, нельзя сказать, чтобы вполнѣ соотвѣтствовали и были благотворны *людямъ, одареннымъ* художественнымъ талантомъ, то тѣмъ болѣе *трудно было ожидать*, чтобы такое благотворное вліяніе могъ ока-

зать математическій факультетъ одного изъ русскихъ университетовъ сороковыхъ годовъ. Но все-таки было бы ошибочно утверждать, чтобы университетскіе годы прошли для Писемскаго совсѣмъ безплодно. Недаромъ Писемскій самъ въ своемъ романѣ говоритъ о своемъ героѣ: «Естественныя науки открыли передъ нимъ цѣлый міръ новыхъ свѣдѣній: онъ *уразумѣлъ и травъ прозябанье*, и съ нимъ *заговорила морская волна*. Онъ узналъ жизнь земного шара—какимъ образомъ онъ образовался, какъ на немъ произошли рѣки, озера, моря; узналъ, чѣмъ люди дышатъ, почему они на сѣверѣ питаются рыбой, а на югѣ—рисомъ. Словомъ, вся эта природа, интересовавшая его прежде только какимъ-нибудь очень ужъ красивымъ мѣстоположеніемъ, очень хорошей или чрезвычайно дурной погодой, какимъ-нибудь никогда невиданнымъ животнымъ,—стала теперь понятна ему въ своихъ причинахъ, явилась машиной, въ которой было все тѣснѣйшимъ образомъ связано одно съ другимъ. Изъ изящныхъ собственно предметовъ онъ въ это время изучалъ Шекспира и еще Шиллера, за котораго онъ принялся, чтобы выучиться нѣмецкому языку, столь необходимому для естественныхъ наукъ, и который сразу увлекъ его, какъ поэтъ человѣчности, цивилизаціи и всѣхъ юношескихъ порывовъ».

То же самое свидѣтельствуетъ Писемскій и въ своей автобіографіи, говоря, что хотя онъ и немного пріобрѣлъ научныхъ свѣдѣній изъ факультета, но зато познакомился съ Шекспиромъ, Шиллеромъ, Гёте, Корнелемъ, Расиномъ, Жанъ-Жакомъ Руссо, Вольтеромъ, Викторомъ Гюго и Жоржъ-Зандомъ и сознательно оцѣнилъ русскую литературу.

Надо принять въ соображеніе также и то обстоятельство, что Писемскій, подобно многимъ своимъ товарищамъ, не ограничивался одной математикой, а слушалъ лекціи профессоровъ другихъ факультетовъ. Такъ, въ романѣ «Люди сороковыхъ годовъ» онъ сообщаетъ эпизодъ, очевидно вполнѣ автобіографическій:

«Профессоръ словесности — читаемъ мы въ романѣ—задалъ студентамъ темы для сочиненій. Вихровъ ужасно этому обрадовался и выбралъ одну изъ нихъ, а именно: «*Поссевинъ въ Россіи*», и сейчасъ же принялся писать на нее. Еще и прежде того, какъ мы знаемъ, искусившись въ писаніи повѣстей и прочитавъ потомъ цѣлыя сотни историческихъ романовъ, онъ изобразилъ пребываніе Поссевина въ Россіи въ формѣ разсказа: описалъ тутъ и царя Іоанна, и іезуитовъ съ ихъ одеждою, обычаями, и придумалъ даже полячку, привезенную ими съ собой. Цѣлыя двѣ недѣли Вихровъ занимался этимъ трудомъ и наконецъ подалъ его профессору, вовсе не ожидая отъ того ника-

кихъ особыхъ послѣдствій, а такъ только потѣшилъ въ этомъ случаѣ натуру свою. Невдолгѣ послѣ того профессоръ сталъ давать отчетъ о прочитанныхъ имъ сочиненіяхъ. Онъ ихъ обыкновенно увозилъ изъ университета на ломовомъ извощикѣ — и на ломовомъ же извощикѣ и привозилъ. Взойдя на каѳедру, онъ былъ какъ бы нѣкоторое время въ недоумѣніи.

— Милостивые государи, началъ онъ своимъ звучнымъ голосомъ,— я, къ удивленію своему, долженъ отдать на нынѣшній разъ предпочтеніе сочиненію не студента словеснаго факультета, а математики... Я говорю про сочиненіе г-на Вихрова: «*Поссевинъ въ Россіи*».

У Павла руки и ноги задрожали и въ глазахъ помутилось.

— Г-нъ Вихровъ! вызвалъ уже его профессоръ.

Павелъ всталъ. Профессоръ, какъ бы съ большимъ вниманіемъ, нѣсколько времени смотрѣлъ на него.

— Въ вашемъ сочиненіи, не говоря уже о знаніи фактовъ, видна необыкновенная ловкость въ пріемахъ разсказа; вы какъ-будто очень опытны и давно упражнялись въ этомъ.

— Я давно ужъ пишу! отвѣчалъ Вихровъ съ дрожащими губами.

— Упражняетесь въ этомъ!.. прекрасно, прекрасно!.. У васъ положительное дарованіе!

И профессоръ мотнулъ Вихрову головой въ знакъ того, чтобы тотъ садился.

Павелъ опустился — отъ волненія онъ едва стоялъ на ногахъ; но потомъ, когда лекція кончилась, и профессоръ сталъ сходить по лѣстницѣ, Павелъ нагналъ его:

— У меня цѣлая повѣсть написана, сказалъ онъ,—позвольте вамъ представить ее!

— Представьте, сказалъ профессоръ, уже съ удивленіемъ взглянувъ на него.

Вихровъ на слѣдующую же лекцію принесъ ему свою повѣсть «Чугунное кольцо». Профессоръ взялъ у него тетрадку. Цѣлую недѣлю Вихровъ горѣлъ, какъ на угольяхъ. Профессора онъ видѣлъ въ университетѣ; но тотъ ни слова не говорилъ съ нимъ объ его произведеніи. Наконецъ послѣ одной лекціи онъ проговорилъ:

— Г-нъ Вихровъ здѣсь?

— Здѣсь! отвѣчалъ Павелъ, опять съ дрожащими губами.

— Прошу васъ сегодня зайти ко мнѣ вечеркомъ: я имѣю съ вами поговорить.

Вихровъ радъ былъ двадцать-тридцать разъ къ нему сходить. «Что-то онъ скажетъ мнѣ, и въ какихъ выраженіяхъ станетъ хвалить меня?» думалъ онъ все остальное время до вечера: въ похвалѣ отъ профессора онъ почти уже не сомнѣвался. Часу въ седьмомъ вечера онъ почти бѣгомъ бѣжалъ со своей квартиры къ дому профессора и робкою рукою позвонилъ въ колокольчикъ. Человѣкъ отперъ ему и впустилъ его; Павелъ сказалъ ему свою фамилію. Человѣкъ повелъ его сначала черезъ залу, гостиную. Вихровъ съ искреннѣйшимъ благоговѣніемъ вдыхалъ въ себя этотъ ученый воздухъ; въ кабинетѣ, слабо *освѣщенномъ* свѣчами съ абажуромъ, онъ увидѣлъ самого профессора; *всѣ стѣны кабинета* уставлены были книгами, столъ заваленъ кипами *бумагъ*.

— Здравствуйте, садитесь! сказалъ онъ ему ласково.

Вихровъ сѣлъ.

— Я позвалъ васъ, продолжалъ профессоръ, —сказать вамъ, чтобы вы бросили это дѣло, за которое очень рано взялись!

И онъ сдѣлалъ при этомъ значительную мину. Вихровъ покраснѣлъ.

— Почему же? спросилъ онъ.

— Потому что вы описываете жизнь, которой еще не знаете; вы можете написать теперь сочиненіе изъ книгъ,—наконецъ описать ваши собственныя ощущенія—но никакъ не романъ или повѣсть! На меня, признаюсь, ваше произведеніе сдѣлало очень, очень непріятное впечатлѣніе; въ немъ выразилась или весьма дурно направленная фантазія, если вы все выдумали, что писали... А если же нѣтъ, то это съ другой стороны дурно рекомендуетъ вашу нравственность!

И профессоръ опять при этомъ значительно мотнулъ Вихрову головой и подалъ ему его повѣсть назадъ. Павелъ только изъ приличія просидѣлъ у него еще съ полчаса, и профессоръ все ему толковалъ о тѣхъ образцахъ, которые онъ долженъ читать, если желаетъ сдѣлаться литераторомъ, о строгой и умѣренной жизни, которую онъ долженъ вести, чтобы быть истиннымъ жрецомъ искусства, и заключилъ тѣмъ, что «орудіе, то есть талантъ, у васъ есть для авторства, но содержанія еще никакого!»

Герой мой вышелъ отъ профессора сильно опѣшенный. «Въ самомъ дѣлѣ мнѣ, можетъ быть, рано еще писать!» подумалъ онъ самъ съ собой и рѣшился пока учиться и учиться!»...

Въ это время студенты увлекались Бѣлинскимъ; подъ вліяніемъ-же любимаго критика вели ожесточенные и безконечные философскіе споры и зачитывались Гоголемъ. Изъ того-же автобіографическаго романа мы видимъ, что все это продѣлывалъ и Писемскій въ лицѣ своего героя, Вихрова. Объ увлеченіи-же Писемскаго Гоголемъ мы можемъ судить по воспоминаніямъ Алмазова, вотъ что сообщившемъ между прочимъ въ своей рѣчи, сказанной на юбилеѣ Писемскаго:

«Какія же вліянія способствовали развитію такого въ высшей степени самороднаго таланта, какъ талантъ Писемскаго? Литературными образцами для нашего юбиляра были творенія двухъ нашихъ великихъ писателей-художниковъ, Пушкина и Гоголя; на эстетическія его теоріи имѣли большое вліяніе критическія статьи Бѣлинскаго, и вообще умственное его развитіе совершалось подъ воздѣйствіемъ профессоровъ Московскаго университета начала сороковыхъ годовъ. Что касается до вліянія, происходящаго отъ личнаго сношенія съ людьми, то мы знаемъ только одного литератора, который имѣлъ нѣкоторое вліяніе на Писемскаго,—и этотъ литераторъ, какъ ни покажется это страннымъ на первый разъ, былъ никто другой, какъ Павелъ Александровичъ Катенинъ. Какъ, подумаютъ многіе, тотъ Катенинъ, который, по словамъ Пушкина, «*воскресилъ* Корнеля геній величавый?» Катенинъ, *крайній* сторонникъ и самый отчаянный поклонникъ фран-

цузскаго псевдо-классицизма, переводчикъ Корнеля, имѣлъ вліяніе на такого писателя-реалиста, какъ Писемскій? Какъ это ни странно, а это правда. Познакомился Писемскій съ Катенинымъ случайно: Катенинъ жилъ въ трехъ верстахъ отъ родового имѣнія Писемскихъ (въ Костромской губерніи), гдѣ родился, получилъ первоначальное воспитаніе и проводилъ потомъ время гимназическихъ и университетскихъ вакацій будущій авторъ романа «*Тысяча Душъ*», трагедіи «*Горькая Судьбина*» и комедій: *Ваалъ*», «*Ипохондрикъ*», «*Подкопы*». Ветеранъ литературы, Катенинъ, фанатически вѣрный своимъ идоламъ, Корнелю и Расину, и корану псевдо-классической поэзіи, «L'art Poétique» Буало, подружился съ молодымъ студентомъ, жаркимъ поклонникомъ Гоголя и статей Бѣлинскаго, — Бѣлинскаго, у котораго, по духу тогдашнихъ эстетическихъ теорій, имена Корнеля и Расина чуть-чуть не были бранными словами. Какъ же проводили время, сходясь между собою, эти два совершенно противуположные по литературнымъ убѣжденіямъ человѣка? Катенинъ декламировалъ передъ Писемскимъ произведенія французскихъ лжеклассиковъ; Писемскій читалъ Катенину произведенія Гоголя. Разумѣется, послѣ чтенія у нихъ были горячіе споры. «Вашъ Гоголь—дрянь, гадость!» кричалъ въ какомъ-то ожесточеніи Катенинъ. Писемскій, возражая Катенину, обзывалъ вѣроятно тоже не совсѣмъ лестными эпитетами Корнеля и Расина. Но когда умолкалъ споръ, Писемскій слушалъ какую-нибудь трагедію какого-нибудь французскаго классика, а немного погодя Катенинъ слушалъ повѣсть или комедію Гоголя

«Въ чемъ же отразилось вліяніе Катенина на Писемскаго? Во-первыхъ, въ нѣкоторыхъ сценическихъ пріемахъ нашего юбиляра, ибо я никакъ не могу пройти молчаніемъ сценическій талантъ Писемскаго. Вамъ, милостивые государи, которые не разъ наслаждались въ этой самой залѣ его необыкновенно-искуснымъ чтеніемъ, вамъ вѣроятно будетъ пріятно вспомнить объ одномъ изъ сценическихъ успѣховъ Писемскаго, и потому вы мнѣ позволите сдѣлать отступленіе въ моей рѣчи. Поэзія и сцена—не дальняя родня между собою, и, говоря о литературныхъ достоинствахъ писателя, позволительно сказать и объ его достоинствахъ, какъ актера».

«Въ 1844 году наше тогда еще молодое поколѣніе прослышало, что въ Долгоруковскомъ переулкѣ, въ меблированныхъ комнатахъ— въ тѣхъ самыхъ, которыя потомъ описаны съ такимъ юморомъ въ одномъ изъ романовъ нашего автора, живетъ какой-то студентъ Московскаго университета, 2-го отдѣленія философскаго факультета, который читаетъ своимъ пріятелямъ Гоголя и читаетъ такъ, какъ никто еще до того времени не читывалъ. Наше поколѣніе горячо и восторженно принимало къ сердцу всѣ интересы искусства, и потому сильно взволновалось, услышавъ эту новость, и рвалось послушать, какъ Писемскій читаетъ Гоголя. Но намъ, школьникамъ, было слишкомъ недоступно общество студентовъ, а студенты *философскаго* факультета однимъ своимъ наименованіемъ наводили на насъ священный страхъ... Вдругъ доходитъ до насъ слухъ, что на одномъ такъ называемомъ благородномъ театрѣ будетъ даваться «*Женитьба*» Гоголя и что въ ней роль *Подколесина* будетъ играть Писемскій. Съ трудомъ мы пробрались на этотъ спектакль. Конечно не мы были судьями надъ Писемскимъ, но

мы были свидѣтелями того изумленія, съ какимъ избранное московское общество смотрѣло на игру Писемскаго. Въ то время Подколесина игралъ на Императорскомъ театрѣ великій нашъ комикъ Щепкинъ; но кто ни взглянулъ на Писемскаго, всякій сказалъ, что онъ лучше истолковалъ этотъ характеръ, чѣмъ самъ Щепкинъ. Не стану распространяться о сценическихъ дарованіяхъ Писемскаго: большая часть изъ нашихъ посѣтителей, слышавшая его чтеніе, уже можетъ вообразить, каковъ онъ долженъ быть на сценѣ. Скажу только, что Писемскій обязанъ Катенину тѣмъ удивительнымъ умѣньемъ владѣть собою, тою удивительно-отчетливою и сдержанною интонаціей голоса, которою мы любуемся въ тѣ минуты, когда онъ читаетъ намъ трагическія мѣста изъ своихъ произведеній»...

О высокомъ мастерствѣ въ декламаторскомъ искусствѣ свидѣтельствуютъ и другіе современники Писемскаго. Такъ, И. Ѳ. Горбуновъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Писемскомъ сообщаетъ между прочимъ о его чтеніи своей «*Плотничьей артели*» на вечерѣ у Краевскаго, что «это было не чтеніе, а высокая сценичная игра; каждое лицо выглядѣло, какъ живое, со своимъ тономъ, съ своимъ жестомъ, со своей индивидуальностью. Художественное наслажденіе было полное, всѣ были въ неописанномъ восторгѣ». Слава о превосходномъ чтеніи Писемскаго не замедлила распространиться по Петербургу, и Писемскаго наперерывъ приглашали читать то въ Петербургѣ, то въ Кронштадтѣ и другихъ окрестностяхъ. «Очень часто, говоритъ Горбуновъ, по вечерамъ, а иногда и днемъ мы отправлялись съ нимъ куда-нибудь на чтеніе. Мы сдѣлались извѣстными чтецами и вошли въ моду; насъ приглашали въ самое высшее общество.—«Мы съ тобой точно дьячки—сказалъ онъ одинъ разъ:—намъ-бы попросить митрополита, чтобы онъ разрѣшилъ стихарь надѣть».

Нѣчто подобное свидѣтельствуетъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Писемскомъ П. В. Анненковъ:

«Онъ дѣйствительно передавалъ мастерски собственныя сочиненія, находя чрезвычайно выразительныя интонаціи для всякаго лица, выводимаго имъ на сцену (въ драматическихъ его пьесахъ это выходило особенно эффектно). Также мастерски разсказывалъ онъ множество уморительныхъ анекдотовъ изъ его встрѣчъ съ разными лицами своей молодости. Подобныхъ анекдотовъ были у него цѣлые короба, и въ каждомъ изъ нихъ выражался болѣе или менѣе законченный комическій типъ. Многіе изъ такихъ типовъ были имъ обработаны позднѣе и попали въ его сочиненія».

Но Анненковъ расходится съ Ахматовымъ относительно актерскаго таланта Писемскаго. По словамъ его, репутація великаго актера, которая была ему составлена въ Москвѣ и которой онъ очень *гордился, не* выдержала окончательной пробы:

«Такъ, при исполненіи имъ роли городничаго въ «Ревизорѣ» Гоголя, данномъ на публичномъ спектаклѣ въ пользу литературнаго фонда, который былъ тогда въ большой модѣ (1860), онъ оказался слабымъ и монотоннымъ, изображая эту живую фигуру. Дѣло въ томъ, что Писемскій всегда счастливо находилъ одну вѣрную ноту въ предоставленной ему роли и по ней создавалъ все лицо исключительно, пренебрегая всѣми другими оттѣнками его. Однажды я былъ свидѣтелемъ, какъ Писемскій, въ присутствіи покойнаго Мартынова, вздумалъ оправдывать эту грубую, упрощенную манеру пониманія изображенныхъ лицъ и утверждалъ между прочимъ, что геніальный создатель «Ревизора», кажется, писалъ свою комедію не для сцены, потому что въ городничемъ его безпрестанно встрѣчаются вводныя мысли и отступленія, сбивающія съ толку актера и мѣшающія ему проводить роль въ надлежащемъ единствѣ. Великій нашъ комикъ, который былъ также и очень сильнымъ теоретикомъ своего искусства, горячо возражалъ на эту мысль, объясняя пространно и чрезвычайно ясно, что всѣ эти *a parte*, побочныя мысли и подробности совершенно необходимы автору и представляютъ благодарную задачу для истиннаго актера, помогая ему высказать въ полномъ блескѣ свое дарованіе и сліяніемъ всѣхъ этихъ отдѣльныхъ чертъ въ одинъ полный образъ создать характеръ, способный остаться надолго въ преданіяхъ театральнаго міра. Писемскій, кажется, остался при своемъ мнѣніи.»

II.

Окончаніе университетскаго курса и вліяніе, оказанное на Писемскаго университетомъ.—Служебная дѣятельность и ея вліяніе на талантъ Писемскаго—Сходство и различіе въ развитіи талантовъ Писемскаго и Салтыкова.—Романъ «Боярщина».—Повѣсть «Нина».— Женитьба Писемскаго и его семейная жизнь.

Успѣхъ въ роли Подколесина совпалъ въ жизни Писемскаго съ окончаніемъ университетскаго курса, послѣдовавшимъ въ томъже 1844 голу. Писемскій былъ выпущенъ со степенью дѣйствительнаго студента. Хотя онъ и самъ свидѣтельствуетъ, что университетъ далъ ему немного, но мы все таки утверждаемъ, что не могъ онъ пройти въ жизни Писемскаго совершенно безслѣдно. Странно было-бы и требовать, чтобы университетъ внѣдрялъ въ голову каждаго студента цѣликомъ всѣ тѣ науки, которыя проходятся на избранномъ имъ факультетѣ. Дѣло университета заключается лишь въ томъ, чтобы возбудить въ юношѣ живой интересъ къ пріобрѣтенію знаній и занятію науками, дать ему ключъ

къ этимъ занятіямъ. Если затѣмъ юноша остается въ центрѣ просвѣщенія, близко къ очагамъ наукъ и искусствъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ огонь, зажженный въ немъ университетомъ, успѣлъ сильно разгорѣться въ немъ, онъ будетъ самостоятельно поддерживать этотъ огонь, продолжая учиться, усвоивать любимую науку и въ концѣ концовъ двигать ее. Но смѣшно и требовать, чтобы огонь продолжалъ самъ собою горѣть безъ перерыва и въ такомъ случаѣ, если юноша, по окончаніи курса, уѣдетъ въ далекую глушь и тамъ предастся какому нибудь практическому дѣлу, не имѣющему ничего общаго съ усвоенными въ университетѣ знаніями. Естественно, что не поддерживаемый новыми матеріалами, огонь начнетъ со временемъ гаснуть, пріобрѣтенныя знанія, не прилагаемыя къ жизни, будутъ мало по малу испаряться. Отъ всего университетскаго курса останется лишь общая закваска человѣка съ высшимъ образованіемъ, въ видѣ тѣхъ идей честности, гуманности и прогресса, какія каждый мало-мальски талантливый и неиспорченный юноша выноситъ изъ университета. Но конечно среда и жизнь могутъ такъ переработать человѣка, что и отъ этихъ идей не останется впослѣдствіи и слѣдочка.

Прилагая эти соображенія къ Писемскому, мы не считаемъ большой бѣдой, что онъ не вынесъ изъ университета цѣликомъ всю премудрость математическаго факультета, курсъ котораго онъ окончилъ. Къ чему пригодилась бы для него вся эта премудрость, если-бы даже онъ вмѣстилъ ее въ себя въ такомъ количествѣ, какъ Лобачевскій? Совершенно было достаточно, что рядомъ съ положительными хотя бы и самыми элементарными знаніями Писемскій вынесъ изъ университета кое-какую начитанность по литературамъ западной и русской, а главнымъ образомъ увлеченіе Бѣлинскимъ, Гоголемъ и Жоржъ-Зандомъ, что̀ ставило его во всякомъ случаѣ впереди своего вѣка. Если-бы съ этимъ умственнымъ багажемъ онъ остался въ Москвѣ, примкнулъ къ какимъ-нибудь литературнымъ или философскимъ кружкамъ, продолжалъ-бы читать, учиться, развиваться; еще лучше если-бы поѣхалъ заграницу, подобно Тургеневу или Грановскому, доучиваться въ западныхъ университетахъ, то конечно онъ и до конца дней своихъ продолжалъ-бы стоять въ первыхъ рядахъ своихъ современниковъ не только по своему художественному таланту, но и какъ мыслитель. Къ сожалѣнію крайній недостатокъ средствъ заставилъ Писемскаго по окончаніи университетскаго курса спѣшить на родину, *на долгіе годы* закабалить себя въ провинціальную глушь и за-

нуть служебную лямку ради прокормленія себя и семьи. Нѣтъ ничего мудренаго, что университетскія образованіе и закваска съ каждымъ годомъ начали испаряться подъ вліяніемъ той невѣжественной и полудикой провинціальной среды, въ которую попалъ юноша, и когда, въ 50-хъ годахъ, Писемскій явился въ Петербургъ, онъ, какъ мы увидимъ, поразилъ петербуржцевъ своей провинціальной оригинальностью и, по словамъ Анненкова, «произвелъ на всѣхъ впечатлѣніе какой-то *диковинки* посреди Петербурга, причемъ всѣ сужденія принадлежали ему, природѣ его практическаго ума *и не обнаруживали никакого родства съ ученіями и вѣрованіями, наиболѣе распространенными между тогдашними образованными людьми*».

Вотъ что говоритъ самъ Писемскій въ своей автобіографіи о первыхъ годахъ своей жизни по окончаніи университетскаго курса:

«На моемъ успѣхѣ въ 1844 г. въ роли Подколесина кончилась моя научная и эстетическая жизнь. Впереди мнѣ предстояли горе и необходимость служить: отецъ мой уже умеръ, мать, пораженная его смертью, была разбита параличемъ и лишилась языка; средства къ существованію были весьма небольшія. Все это понимая, я впалъ, по переѣздѣ моемъ въ деревню, въ меланхолію и ипохондрію, изъ какой спасла меня любовь. Еще ранѣе того, во время моего гимназическаго и университетскаго воспитанія я влюблялся идеально въ моихъ кузинъ, изъ которыхъ первая описана въ лицѣ Софи въ «*Взбаломученномъ Морѣ*», а вторая въ лицѣ Маріи въ «*Людяхъ сороковыхъ годовъ*»; но вышесказанная любовь была уже реальная и поглотила всего меня. Любовь эта мною выражена во-первыхъ въ романѣ моемъ «*Боярщина*», въ отношеніяхъ Эльчанинова къ Аннѣ Павловнѣ, и потомъ второй разъ въ «*Людяхъ сороковыхъ годовъ*», въ отношеніяхъ Вихрова къ Фатѣевой. Но жизнь и родные не удовлетворялись этимъ моимъ блаженствомъ, какъ не удовлетворялась имъ и моя собственная совѣсть, тѣмъ болѣе, что написанный мною тогда романъ «*Боярщина*», какъ протестъ противъ брака, былъ прямо прихлопнутъ цензурой; значитъ, надежда на авторство могла тогда показаться сумасшествіемъ, и потому я рѣшился во-первыхъ посвятить себя службѣ, а потомъ жениться, избравъ для этого дѣвушку совершенно уже не кокетку, изъ семьи хорошей, но небогатой. Свадьба наша совершилась 11 октября 1848 года. Жена моя отчасти *обрисована мною въ «Взбаломученномъ Морѣ»* въ лицѣ Евпраксіи, *которой сверхъ того* придано въ романѣ названіе ледешка».

Въ поясненіе этого лаконическаго конспекта нѣсколькихъ лѣтъ жизни Писемскаго считаемъ долгомъ прежде всего познакомить читателей нашихъ съ служебной дѣятельностью Писемскаго. Первоначально, тотчасъ-же по окончаніи университетскаго курса, Писемскій поступилъ въ костромскую палату государственныхъ имуществъ, а затѣмъ перешелъ въ подобную же палату московскую. Въ 1846 году онъ вышелъ въ отставку и два года прожилъ въ провинціи, увлекаясь въ это время тою жоржъ-зандовскою свободною любовью, о которой онъ говоритъ въ своей автобіографіи. Въ 1848 году послѣ женитьбы и по настоянію родныхъ онъ вновь поступаетъ на службу, чиновникомъ по особымъ порученіямъ, къ костромскому губернатору, которымъ состоялъ въ то время извѣстный впослѣдствіи петербургскій ген.-губернаторъ князь Суворовъ. Въ 1849 году Писемскій былъ назначенъ ассесоромъ костромскаго губернскаго правленія и прослужилъ въ этой должности до 1853 г. Вышедши въ этомъ году въ отставку и переселившись въ Петербургъ, въ 1854 году онъ зачислился по министерству удѣловъ, гдѣ состоялъ до 1859 года. Съ этого года и до 1866 года Писемскій нигдѣ не служилъ, предаваясь исключительно одной литературной дѣятельности. Въ 1866 году онъ опять поступилъ совѣтникомъ московскаго губернскаго правленія. Здѣсь онъ дослужился до старшаго совѣтника и въ 1872 году окончательно вышелъ въ отставку въ чинѣ надворнаго совѣтника Вотъ что между прочимъ говоритъ въ своей рѣчи на юбилеѣ Писемскаго Алмазовъ по поводу его служебной дѣятельности:

«Говоря о вліяніяхъ, которыя отразились на нашемъ юбилярѣ, я долженъ упомянуть объ одномъ обстоятельствѣ, которое сильно подѣйствовало на развитіе его таланта. Большая часть нашихъ писателей, изображающихъ чиновничій бытъ и служебную сферу, знаютъ то и другое только съ виду, или даже просто по слуху. Они или служили въ какихъ-нибудь канцеляріяхъ и знаютъ службу только по канцелярскимъ формамъ, или просто только числились по службѣ и даже мало знакомы съ физіономіями своихъ начальниковъ и еще меньше съ физіономіями своихъ товарищей и подчиненныхъ. Но Писемскій отнесся совсѣмъ иначе къ службѣ, чѣмъ эти господа: онъ, можно сказать, отдался всею душою служенію русскому государству и, служа, только и думалъ, какъ бы побороть ту темную силу, съ которой борются и наше высшее правительство, и лучшая часть нашего общества. Чтобъ показать вамъ наглядно, какими мыслями и чувствами руководился онъ въ своей служебной дѣятельности, приведу мѣсто изъ его романа «*Тысяча Душъ*». Вотъ что говоритъ Писемскій о своемъ героѣ Калиновичѣ, назначенномъ вице-губернаторомъ въ одну изъ тѣхъ губерній, гдѣ въ самомъ роскошномъ видѣ процвѣтали взяточничество, *казнокрадство и всевозможныя* превышенія власти».

«Калиновичъ могъ дѣйствительно быть названъ представителемъ той молодой администраціи, которая хотя болѣзненно, но замѣтно уже начинаетъ пробиваться то тутъ, то тамъ, сквозь толстую кору подъяческихъ плутней. *Какъ сознательный юристъ, молодой вице-губернаторъ, еще на университетскихъ скамейкахъ, по устройству собственнаго сердца своего, чувствовалъ всегда большую симпатію къ проведенію безстрастной идеи государства, съ возможнымъ отпоромъ всѣхъ домогательствъ сословныхъ и частныхъ.* Въ управленіи приняты имъ были тѣ же основанія».

«Взглядъ на государство и на службу, приписанный здѣсь герою романа, есть взглядъ самого автора; имъ руководился онъ постоянно при исполненіи своихъ служебныхъ обязанностей, и мы смѣло можемъ сказать, что онъ много принесъ пользы на службѣ, хотя никогда не занималъ видныхъ должностей. Я укажу вамъ на одну замѣчательную сторону служебной дѣятельности Писемскаго — на его дѣятельность, какъ слѣдователя по уголовнымъ преступленіямъ. Тутъ онъ изучалъ каждаго преступника, какъ изучаетъ добрый и старательный врачъ каждаго больного; оставаясь буквально и неумолимо вѣренъ закону, онъ относился къ допрашиваемому преступнику съ такимъ участіемъ, съ такою любовью, что и тотъ начиналъ любить его и разсказывалъ про себя все, потому только, «что ужъ онъ больно хорошій и умный баринъ».

«Я сказалъ здѣсь о службѣ Писемскаго не для того, чтобы хвалить его, какъ чиновника; оцѣнка его служебной дѣятельности не должна войти въ мою рѣчь, имѣющую цѣлью указать только на литературныя заслуги нашего юбиляра. Но эти заслуги близко связаны со служебной его дѣятельностью. Вы понимаете, какой огромный матеріалъ для своихъ литературныхъ произведеній пріобрѣлъ авторъ, служа такъ усердно интересамъ русскаго государства, какъ глубоко узналъ онъ чиновничій людъ, какъ глубоко проникъ въ душу русскаго человѣка».

Въ этомъ отношеніи есть нѣчто общее въ характерѣ развитія таланта Писемскаго и Салтыкова. Послѣдній, подобно Писемскому, на долгое время былъ кинутъ въ провинціальную жизнь и, принужденный тянуть служебную лямку, точно также имѣлъ возможность близко познакомиться съ провинціальной жизнью, какъ въ административныхъ ея сферахъ, такъ и во всѣхъ прочихъ, съ парадныхъ и закулисныхъ ея сторонъ, и результатъ былъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ одинаковый. Глазамъ обоихъ писателей провинціальная жизнь представилась во всей своей грубой и дикой некультурности, крайней мелочности интересовъ и полномъ отсутствіи какъ общественныхъ принциповъ, такъ и самыхъ элементарныхъ нравственныхъ правилъ. Примите при этомъ въ соображеніе, что это была передъ-реформенная эпоха 40-хъ и 50-хъ годовъ, *когда старый патріархальный* и крѣпостной строй жизни былъ *расшатанъ до послѣдней* степени и, казалось, все вокругъ развали-

валось, повсюду господствовалъ полный разгулъ взяточничества, казнокрадства, дикаго помѣщичьяго произвола и общаго безначалія. За деньги все что угодно можно было купить, сдѣлать и скрыть въ воду всевозможные концы. Жизнь интеллигентныхъ классовъ имѣла характеръ безпрерывной дикой и разнузданной оргіи; казалось, не предвидѣлось и конца общему веселью, а между тѣмъ экономическій кризисъ висѣлъ на носу, и помѣщичьи имѣнія начинали уже одно за другимъ продаваться съ аукціона. Понятно, что долгіе годы такого внушительнаго зрѣлища имѣли одинъ результатъ какъ для Салтыкова, такъ и для Писемскаго. У обоихъ этихъ писателей отпала всякая охота не только къ малѣйшей идеализаціи русской жизни, но и къ вполнѣ реальному изображенію свѣтлыхъ и положительныхъ сторонъ ея. У обоихъ писателей въ равной степени вы не найдете и слѣда какихъ-бы то ни было поэтическихъ образовъ, которые въ такомъ обиліи встрѣчаются у другихъ писателей сороковыхъ годовъ, напр. у Тургенева, Гончарова, Григоровича, Л. Толстого, Некрасова, Островскаго и пр., ни восхитительныхъ пейзажей, ни очаровательныхъ женщинъ, ни волшебныхъ свиданій въ ночной тиши. Если встрѣчается въ произведеніяхъ обоихъ этихъ писателей любовь, то или въ комическомъ и пошломъ видѣ, или въ низменно-грязномъ. У обоихъ провинціальная среда рисуется исключительно въ видѣ безобразныхъ чудовищъ и уродовъ, поражающихъ васъ своей культурной грубостью, отсутствіемъ самыхъ элементарныхъ понятій о совѣсти и чести и разнузданнымъ цинизмомъ. Но этимъ и кончается конечно сходство Писемскаго съ Салтыковымъ, а далѣе затѣмъ начинается полная противуположность. Впродолженіи своей петербургской жизни, между лицеемъ и ссылкой, Салтыковъ вращался въ самыхъ передовыхъ кружкахъ петербургскаго общества и имѣлъ возможность нетолько воспринять, но и глубоко запечатлѣть въ своей воспріимчивой и чуткой душѣ тѣ общественные идеалы, которыми въ то время жила Европа. Идеалы эти сдѣлались святыней его на всю жизнь, и не въ состояніи были исторгнуть ихъ изъ его души ни долгіе годы изгнанія, ни служебная дѣятельность среди мало-культурныхъ людей. Идеалы эти послужили обратной стороной всѣхъ обличеній Салтыкова. Читая произведенія его, вы видите передъ собою не озлобленнаго пессимиста, который, рисуя картину жизни, исполненную безотрадно мрачныхъ красокъ, предоставляетъ вамъ думать, что таковъ нормальный и общій порядокъ *жизни, и что всегда* и вездѣ такъ было, есть и будетъ. Напро-

тивъ того, передъ вами горячій идеалистъ, который смѣется надъ окружающими его безобразіями, какъ надъ чѣмъ-то крайне ненормальнымъ, преходящимъ, и вѣритъ въ возможность иныхъ, лучшихъ порядковъ жизни, разумныхъ и справедливыхъ.

Совсѣмъ не то мы видимъ въ Писемскомъ. Воспринявши въ университетѣ кое-какія новыя вѣянія крайне поверхностно и туманно, онъ затѣмъ сразу окунулся въ среду, не имѣвшую ничего общаго съ этими вѣяніями. Вся жизнь этой среды шла совершенно въ разрѣзъ съ ними, а между тѣмъ въ глазахъ юноши это была стародавняя жизнь, освященная вѣковыми традиціями, въ духѣ которыхъ онъ самъ былъ воспитанъ. Сама по себѣ среда эта не могла дать ему никакихъ положительныхъ красокъ. Слѣдуя вліянію Гоголя, онъ началъ изображать ее въ томъ безобразномъ видѣ, въ какомъ она ему представлялась; но вмѣстѣ съ тѣмъ, видя вокругъ себя общій отпоръ тѣмъ новымъ идеаламъ, которые вынесъ онъ изъ университета, и крайнее несоотвѣтствіе этихъ идеаловъ съ окружавшей его жизнью, онъ проникся скептицизмомъ и къ самымъ этимъ идеаламъ. Малѣйшая возможность осуществленія ихъ начала ему казаться невообразимымъ абсурдомъ, тѣмъ болѣе, что жалкія попытки такого осуществленія въ невѣжественной средѣ, при всеобщей расшатанности нравовъ, носили печать невообразимой пошлости и карикатурности. Писемскій самъ, какъ мы сейчасъ видѣли изъ его автобіографической записки, вскорѣ по окончаніи университетскаго курса продѣлалъ одну изъ такихъ попытокъ, въ видѣ свободной любви, подъ вліяніемъ чтенія Жоржъ-Занда, и на своемъ собственномъ опытѣ могъ убѣдиться въ несостоятельности такихъ опытовъ. Нетолько вся окружающая среда, въ лицѣ его родныхъ, но и собственная совѣсть, воспитанная въ вѣковыхъ традиціяхъ, возстали противъ новатора.

Въ результатѣ и получилось отрицаніе ради отрицанія; тотъ крайній пессимизмъ безъ малѣйшаго просвѣта, который, рисуя рядъ вопіющихъ безобразій жизни, отвратительной пошлости и грязи, заставляетъ васъ думать, что иной жизни, болѣе идеальной не можетъ и быть, такъ какъ человѣкъ, по самой своей натурѣ— подлецъ, помышляющій лишь объ угожденіи своей плоти и готовый ради своихъ своекорыстныхъ разсчетовъ и низменныхъ побужденій поступиться всѣми своими самыми завѣтными святынями.

Но въ первой повѣсти «Боярщина», которую Писемскій писалъ *въ слѣдующій-же* годъ по выходѣ изъ университета, т. е.

въ 1845 году, какъ разъ въ то время, когда переживалъ онъ свою жоржъ-зандовскую любовь, мы видимъ одни лишь проблески того крайняго пессимизма, какой овладѣлъ имъ впослѣдствіи. По всей вѣроятности университетская закваска была еще у него свѣжа,—чтобы сразу проникнуться безъисходнымъ скептицизмомъ. По крайней мѣрѣ въ «Боярщинѣ» замѣчаются еще кое-какія попытки рисовать жизнь не въ однѣхъ отрицательныхъ краскахъ, но и положительныхъ. Такъ, не лишена привлекательности героиня повѣсти, Анна Павловна. Правда, она, какъ и всѣ женщины произведеній Писемскаго,—существо, настолько лишенное малѣйшей воли и энергіи, что безпрекословно позволила выдать себя замужъ за грубаго Задоръ-Мановскаго, терпѣла всѣ его наглыя оскорбленія и никогда по своей иниціативѣ не рѣшилась-бы бросить мужа, если-бы Савелій не схватилъ ее въ охабку и безчувственную не свезъ къ Эльчанинову. Но это не мѣшаетъ ей все-таки производить на читателей свѣтлое впечатлѣніе, чистотой и духовностью своей страсти, которая оказалась на столько сильна и неизмѣнна, что молодая женщина не могла переработать ее послѣ измѣны Эльчанинова и умерла, потрясенная горемъ. Съ другой стороны еще болѣе привлекаетъ васъ Савелій, котораго Писемскій характезируетъ такимъ образомъ:

«Молодой человѣкъ, котораго называли однимъ только полуименемъ Савелій, былъ такой же дворянинъ, какъ Эльчаниновъ, какъ предводитель, какъ даже самъ графъ; но у него было только нѣсколько десятинъ земли и выстроенный на той землѣ маленькій деревянный флигель. Онъ съ трудомъ умѣлъ читать, нигдѣ не служилъ, но, несмотря на бѣдность, на отсутствіе всякаго образованія, онъ былъ въ высшей степени честный, добрый и умный малый. Онъ никогда никому не жаловался на свою участь и никогда не позволялъ себѣ, подобно другимъ бѣднымъ дворянамъ, просить помощи у богатыхъ. Онъ неусыпно пахалъ, съ помощью одного крѣпостного мужика, свою землю, и такимъ образомъ имѣлъ кусокъ хлѣба. Кромѣ того онъ очень былъ искусенъ въ разныхъ ремеслахъ: собственными руками выстроилъ себѣ мельницу, дѣлалъ телѣги, починивалъ стѣнные часы и переплеталъ наконецъ книги».

Несмотря на все тяжкое положеніе Анны Павловны подъ гнетомъ мужа, ни ей, ни тѣмъ болѣе легкомысленному и безхарактерному Эльчанинову, болѣе склонному къ тайному адюльтеру, чѣмъ къ открытой и честной любви, не пришло-бы и въ голову сойтись открыто, если-бы все это не устроилъ Савелій, принявшій горячее участіе въ судьбѣ Анны Павловны, такъ какъ втайнѣ *любилъ ее. Послѣ*-же того, какъ она умерла на его рукахъ, онъ

невольно задавалъ себѣ вопросъ: что будетъ тогда съ нею? Странное дѣло—этотъ вопросъ всегда рѣшался одинаковымъ образомъ: мнѣ казалось, что рано или поздно на это спокойное теперь созданіе пахнетъ суровое горе жизни, и что Провидѣніе наложитъ на нее крестъ тяжелыхъ испытаній, а я буду утѣшать ее. Мало этого, мнѣ казалось, что ея страданія проистекутъ изъ собственныхъ ея заблужденій, которыя постигнутъ ее потому, что она, какъ мнѣ казалось, вполнѣ наслѣдовала художественную натуру отца, слѣдовательно—натуру, способную увлекаться и ошибаться; въ этой мысли меня еще болѣе убѣждало то, что Нина прекрасно пѣла и играла на фортепіано. Были даже минуты, когда я, въ порывѣ моей мечтательности, думалъ жениться на Нинѣ и съ полнымъ вниманіемъ развить всѣ ея прекрасныя наклонности и предохранить ее отъ неизбѣжнаго зла».

Предчувствіе разсказчика начало повидимому сбываться, когда провинціальный левъ, блистательный, богатый красавецъ Мазуринъ, вскружившій однимъ своимъ появленіемъ головы всѣхъ уѣздныхъ барышень, поухаживалъ немного за Ниной, а затѣмъ пересталъ удостоивать ее вниманія,—и Нина, какъ казалось герою, поверглась въ самое безнадежное отчаяніе. Отлучившись изъ города по случаю смерти отца, герой былъ вполнѣ увѣренъ, что Нина не перенесетъ своего отчаянія и умретъ преждевременной смертью. Каково же было удивленіе его, когда по возвращеніи въ городъ онъ встрѣтилъ Нину не только живой и здоровой, но похорошѣвшей, пополнѣвшей, вышедшей замужъ за толстаго барона, и до такой степени вошедшей въ пошлый уровень уѣздныхъ барынь, что, когда герой намекнулъ ей о прошлыхъ ея страданіяхъ, она лишь промолвила съ гримасой: «старыя глупости!».

«И такъ—думалъ герой Нина не умерла, Нина вышла замужъ; Нина хозяйничаетъ, бранитъ слугъ, командуетъ мужемъ, помѣшана на визитахъ и сплетняхъ! А я думалъ, что она не для здѣшняго міра рождена! Неужели мнѣ цѣлый вѣкъ суждено ошибаться въ людяхъ? Неужели она такъ измѣнилась? Нѣтъ, всегда она видно была такая, но только я придалъ ей то, что мнѣ хотѣлось видѣть въ ней, и Нину живую облекъ въ форму Нины мечтательной. Дай мнѣ Богъ такъ ошибаться весь вѣкъ и видѣть человѣка лучшимъ, нежели онъ въ самомъ дѣлѣ!»...

Но Богъ судилъ Писемскому какъ разъ наоборотъ: именно—видѣть людей—худшими, чѣмъ они на самомъ дѣлѣ!...

Эпоха появленія въ печати первой повѣсти Писемскаго совпала съ женитьбою его. Въ 1848 году 11 октября, какъ сообщаетъ онъ въ своей автобіографіи, онъ сочетался бракомъ съ дочерью основателя «Отечественныхъ Записокъ», Екатериной Павловной Свиньиной, двоюродной сестрой извѣстнаго поэта Аполлона Майкова.

Судя по всѣмъ даннымъ, это былъ бракъ не по страсти, а по

разумному выбору. Во-первыхъ, повѣсть «Нина» свидѣтельствуетъ намъ, какими холодными глазами глядѣлъ уже въ то время Писемскій на любовь и какъ успѣлъ разочароваться въ юныхъ романтическихъ мечтаніяхъ. А во-вторыхъ, онъ и самъ въ своей автобіографіи говоритъ, что для женитьбы онъ *избралъ* дѣвушку совершенно уже не кокетку, изъ семьи хорошей, но небогатой, и далѣе свидѣтельствуетъ, что жена его выведена имъ въ «*Взбаломученномъ Морѣ*», въ лицѣ Евпраксіи, образцовой женой и матерью, но женщиной холодной, разсудительной, неспособной внушать мужчинамъ пылкія страсти, за что авторъ и придалъ ей въ романѣ названіе *ледешка*.

Тѣмъ не менѣе выборъ Писемскаго былъ какъ нельзя болѣе удаченъ, потому что жена его, по общему отзыву всѣхъ знавшихъ ее, была женщина рѣдкихъ достоинствъ. Такъ, по словамъ Анненкова, «эта примѣрная женщина умѣла успокоить его болѣзненную мнительность и освободила его не только отъ заботъ по хозяйству и воспитанію дѣтей, но, что́ важнѣе,—освободила его и отъ своего вмѣшательства въ его личную, интимную жизнь, тоже исполненную капризовъ и порывовъ; она же и переписала на своемъ вѣку по крайней мѣрѣ двѣ трети всѣхъ его сочиненій съ черновыхъ оригиналовъ, представлявшихъ всегда страшно запачканную макулатуру изъ кривыхъ строчекъ, крупныхъ каракуль и чернильныхъ пятенъ».

Нѣчто подобное сообщилъ біографу Писемскаго, г-ну Венгерову, въ разговорѣ и одинъ писатель, хорошо знавшій чету Писемскихъ [1]). По словамъ этого писателя, «вообще Екатерина Павловна представляетъ собою настоящій типъ «литературной жены», жившей всѣми литературными тревогами и треволненіями мужа, близко принимавшей къ сердцу всѣ перипетіи его творчества, лелѣявшей его талантъ и, что было въ ея возможности, дѣлавшей для того, чтобы талантъ этотъ былъ поставленъ въ наиболѣе выгодныя для своего развитія условія. Ко всему этому присоединялась безконечная снисходительность, которой нужно было имѣть очень большой запасъ, чтобы выносить «порывы» покойнаго Алексѣя Ѳеофилактовича, не всегда безукоризненно-семейнаго характера»...

Наконецъ и Тургеневъ въ одномъ изъ писемъ своихъ, увѣщевая Писемскаго не хандрить, между прочимъ писалъ ему:

«Я уже, кажется, вамъ сказалъ разъ, но ничего, можно повто-

---

[1]) См. біографію Писемскаго С. А. Венгерова, СПБ. 1884 г., стр. 45.

рить! не забывайте, *что вы выиграли главный кушъ въ жизненной лотереѣ* [1]): имѣете прекрасную жену и славныхъ дѣтей»...

III.

Приглашеніе Писемскаго молодой редакціей «Москвитянина».—Повѣсти «Тюфякъ» и «Бракъ по страсти».—Впечатлѣніе, произведенное ими на современниковъ.—Безпринципность и пессимизмъ творчества Писемскаго подъ вліяніемъ провинціальной среды.—Отношеніе Писемскаго къ передовой интеллигенціи, къ типамъ рудинскому и печоринскому.—Эстетическія воззрѣнія Писемскаго и аналогія его жанра съ французскимъ натурализмомъ.

Около этого времени, т. е. конца 40-хъ годовъ и начала 50-хъ, произошло, какъ извѣстно, въ Москвѣ распаденіе славянофиловъ на двѣ вѣтви. Между тѣмъ какъ старые славянофилы: Аксаковы, Кирѣевскіе, Хомяковъ, Самаринъ и пр., сгруппировались вокругъ «Московскаго Сборника», а впослѣдствіи «Русской Бесѣды», «Москвитянинъ» Погодина сдѣлался органомъ новой группы молодыхъ славянофиловъ, впослѣдствіи получившихъ названіе *почвенниковъ*. Кружокъ состоялъ изъ литераторовъ, успѣвшихъ уже пріобрѣсть бо́льшую или меньшую извѣстность, каковы были Аполлонъ Григорьевъ, Алмазовъ, Эдельсонъ, Т. Филипповъ, А. Н. Островскій, А. А. Потѣхинъ и пр. Желая пріобрѣсть въ число сотрудниковъ молодыя и многообѣщающія силы, редакція обновленнаго журнала послала въ 1850 году приглашеніе и Писемскому, такъ какъ къ этому году «Боярщина» его успѣла уже получить значительное распространеніе, и Писемскій былъ уже достаточно извѣстенъ въ литературныхъ кружкахъ. Это приглашеніе ободрило Писемскаго, который совсѣмъ уже было забросилъ свое перо и весь предался службѣ; онъ послалъ въ редакцію давно уже лежавшую въ его портфелѣ повѣсть «Тюфякъ», которая и была напечатана въ «Москвитянинѣ» въ томъ же 1850 году, а затѣмъ въ 1851 году появилась въ «Москвитянинѣ» же повѣсть «Бракъ по страсти».

Обѣ эти повѣсти имѣли неимовѣрный успѣхъ и сразу поста-

---

[1]) *Курсивъ Тургенева.*

вили Писемскаго въ одномъ ряду съ лучшими писателями своего времени. Чтобы читатели могли судить, какое впечатлѣніе произвели эти повѣсти на современниковъ, приводимъ нижеслѣдующее свидѣтельство объ этомъ Анненкова:

«Хорошо помню впечатлѣніе, произведенное на меня въ глуши провинціальнаго города,—который если и занимался политикой и литературой, то единственно сплетнической ихъ исторіей,—первыми разсказами Писемскаго «Тюфякъ» (1850) и «Бракъ по страсти» (1851) въ «Москвитянинѣ». Какой веселостью, какимъ обиліемъ комическихъ мотивовъ они отличались и притомъ безъ претензій на какой-либо скороспѣлый выводъ изъ уморительныхъ типовъ и характеровъ, этими разсказами выведенныхъ. Тутъ била прямо въ глаза русская мѣщанская жизнь, вышедшая на Божій свѣтъ, торжествующая и какъ-бы гордящаяся своей открытой дикостью, своимъ самостоятельнымъ безобразіемъ. Комизмъ этихъ картинъ возникалъ не изъ сличенія ихъ съ какимъ-либо ученіемъ или идеаломъ, а изъ того чувства довольства собой, какое обнаруживали всѣ нелѣпые герои въ средѣ безсмыслицъ и невѣроятной распущенности. Смѣхъ, вызываемый разсказами Писемскаго, не походилъ на смѣхъ, возбуждаемый произведеніями Гоголя, хотя, какъ видно изъ автобіографіи нашего автора, именно отъ Гоголя и отразился. Смѣхъ Писемскаго ни на что не намекалъ, кромѣ забавной пошлости выводимыхъ субъектовъ, и чувствовать въ немъ что-либо похожее на «затаенныя слезы»—не представлялось никакой возможности. Наоборотъ, это была веселость, такъ сказать, чисто физіологическаго свойства, т. е. самая рѣдкая у новѣйшихъ писателей,—та, которой отличаются напримѣръ древнія комедіи римлянъ, средневѣковые фарсы и наши простонародныя передѣлки разныхъ площадныхъ шутокъ».

«Нѣкоторые изъ мыслящихъ людей эпохи долго даже и не могли примириться съ этой веселостью; имъ все казалось, что восторги передъ голымъ комизмомъ изображеній однородны съ восторгами толпы на площади, когда ей показываютъ балаганнаго Петрушку съ горбомъ на спинѣ и другими физическими уродливостями. Такъ, весьма требовательный и весьма зоркій критикъ, В. П. Боткинъ, говорилъ еще нѣсколько позднѣе, что онъ не можетъ сочувствовать писателю, который, при несомнѣнномъ талантѣ, не обнаруживаетъ никакихъ принциповъ и не кладетъ никакой мысли въ основу своихъ произведеній»...

И дѣйствительно, въ эпоху, когда литература успѣла уже выдвинуть рядъ тревожныхъ вопросовъ, когда начинался анализъ русской дѣйствительности на основаніи новыхъ идеаловъ, поставленныхъ критикой Бѣлинскаго и статьями Герцена, когда Некрасовъ началъ пѣть свои горькія пѣсни, Тургеневъ писалъ «Записки Охотника», Григоровичъ успѣлъ прославиться своимъ «Антономъ Горемыкою», а Достоевскій—«Бѣдными Людьми», *повѣсть Писемскаго* не могла не поразить читателей своей безпри-

ципностью, безъидеальностью и необузданнымъ разгуломъ чисто физіологическаго смѣха.

Такъ, въ повѣсти «Тюфякъ» тщетно будете вы искать хоть одно лицо, которое помирило бы васъ съ жизнью и на которомъ вы могли бы отдохнуть душою, не исключая и героя повѣсти, Павла Васильевича Бешметева (онъ-же «Тюфякъ»). Правда, въ лицѣ Бешметева можно предположить отдаленный намекъ на то, что̀ переживалъ въ то время самъ авторъ. Я вовсе не хочу этимъ сказать, чтобы Бешметевъ имѣлъ хотя бы малѣйшее подобіе съ Писемскимъ. Но послѣдній самъ именно въ это время переживалъ тяжкую борьбу съ провинціальной средой и въ героѣ своей повѣсти выразилъ весь испытываемый имъ самимъ ужасъ засасыванія образованнаго человѣка смраднымъ болотомъ уѣздной глуши. Тѣмъ не менѣе и герой его повѣсти со своей несчастной судьбою изображенъ въ свою очередь въ такомъ карикатурномъ видѣ, что не только ни мало не привлекаетъ васъ хоть одною положительною чертою, но и не возбуждаетъ ни малѣйшей жалости къ себѣ. Передъ вами вовсе не трагическій герой, падающій въ неравной борьбѣ, засасываемый болотомъ, но въ то-же время дѣлающій неимовѣрныя усилія вырваться изъ его грязныхъ хлябей. Ничуть не бывало. Вы видите передъ собою продуктъ среды, ни чѣмъ не возвышающійся надъ нею и апатично предоставляющій ей засасывать его безъ малѣйшихъ сопротивленій со своей стороны. Онъ кончилъ университетскій курсъ, готовился къ магистерскому экзамену; имѣлъ такимъ образомъ всѣ шансы возвышаться цѣлой головой надъ провинціальной средой. Но наука, внушивши ему знанія, не дала въ то же время ни малѣйшаго нравственнаго закала, а напротивъ того отвлекла его отъ жизни, заставила его потерять всякое чутье дѣйствительности и привила ему крайнюю застѣнчивость, какъ результатъ затворнической жизни. Онъ является въ провинціальную среду совершеннымъ младенцемъ, не умѣетъ ни отстаивать, ни высказывать своихъ мыслей, не знаетъ, какъ ему въ обществѣ ходить, сидѣть, держать себя. Вмѣстѣ съ тѣмъ безхарактерность его доходитъ до такой степени, что стоило роднымъ его дружнымъ хоромъ возстать противъ намѣренія его продолжать учиться, чтобы онъ тотчасъ же растерялся, впалъ въ полное сокрушеніе и разорвалъ въ отчаяніи всѣ свои книги и бумаги.

А затѣмъ имъ начали двигать, какъ истуканомъ, и онъ безъ *малѣйшаго сопротивленія* дѣлалъ то, что̀ ему внушали: *опредѣлился на службу*, женился на дѣвушкѣ, въ которую правда былъ

влюбленъ, но у него не хватило ни смѣлости, ни характера самому поухаживать за нею, а когда другіе сосватали ему ее, у него не достало рѣшимости разспросить ее, нравится ли онъ ей и любитъ ли его она. Понятно, что такой манекенъ, къ тому же крайне неуклюжій, неловкій, не умѣвшій связать двухъ-трехъ словъ, не могъ ничего внушить женѣ кромѣ отвращенія, тѣмъ болѣе, что она и пошла-то за него ради лишь его состоянія, будучи влюблена въ то-же время въ другого. Когда же она начала ему измѣнять и онъ узналъ объ этомъ—и тутъ не хватило у него характера разойтись съ нею честно. Онъ началъ пить горькую и окончательно потерялъ всякій образъ и подобіе человѣческое. И если до сихъ поръ онъ представлялъ собою хоть тѣнь жертвы среды, то теперь ничѣмъ не выдѣлялся уже надъ нею, и въ обращеніи его съ женой въ деревнѣ вы видите въ немъ не человѣка высшаго образованія, а чистѣйшаго азіата. По крайней мѣрѣ ничего кромѣ отвращенія не возбуждаютъ въ васъ хотя-бы нижеслѣдующія сцены, которыя онъ постоянно началъ дѣлать своей постылой супругѣ:

«Герой мой — говоритъ авторъ - въ своемъ желчномъ расположеніи, въ бездѣйствіи и скукѣ, не замѣчая самъ того, началъ увеличивать обычную порцію вина, которое онъ прежде пилъ въ весьма маломъ количествѣ. Обѣдъ былъ, какъ я и прежде замѣчалъ, единственное время, въ которое супруги видѣлись. Къ этому-то именно времени Павелъ и дѣлался значительно навеселѣ. Въ подобномъ состояніи непріязненное чувство къ женѣ возростало въ немъ до ожесточенія, и онъ ее начиналъ, какъ говорится, шпиговать.

— Что, Константинъ, — говорилъ напримѣръ онъ, обращаясь къ стоявшему лакею:—не хочешь ли, братецъ, жениться?

— Никакъ нѣтъ-съ, Павелъ Васильевичъ, отвѣчалъ тотъ.

— Отчего же, братецъ? Ничего!.. Будетъ только на свѣтѣ лишній дуракъ.

— Сохрани Богъ, Павелъ Васильевичъ, возражалъ лакей.

— Далъ мнѣ Богъ умъ и другія способности,—разсуждалъ потомъ Павелъ вслухъ,—родители употребили послѣднія крохи на мое образованіе, и что же я сдѣлалъ для себя? Женился и пріѣхалъ въ деревню. Для этого достаточно было ѣсть и спать, чтобы вырости, а потомъ ѣсть и спать, чтобы умереть.

— Кто же васъ заставлялъ жениться? возражала Юлія.

— Собственная глупость и неблагопріятная судьба.

Юлія пожимала только плечами.

— Сегодня именины у Портновыхъ, и у нихъ вѣрно балъ, — сказалъ однажды Бешметевъ.—Въ этотъ день онъ былъ даже пьянъ.

— Какъ вамъ, Юлія Владиміровна, я думаю, хотѣлось бы туда попасть!

Юлія не отвѣчала мужу.

— Вы бы тамъ увидѣлись и помирились съ однимъ человѣкомъ; онъ бы васъ довезъ въ своемъ фаэтонѣ, а можетъ быть даже вы бы и къ нему заѣхали и время бы провели препріятно.

Юлія не могла этого вынести и залилась слезами.

— Подлый и низкій человѣкъ! – въ состояніи была только проговорить она и ушла къ себѣ въ комнату.

Цѣлый день послѣ того она плакала».

Послѣ такихъ сценъ Бешметевъ, понятно, еще менѣе возбуждаетъ въ васъ участія, и трагическая смерть его ни мало не трогаетъ васъ.

Въ повѣсти-же «Бракъ по страсти» Писемскій идетъ еще далѣе въ изображеніи отрицательныхъ сторонъ современныхъ нравовъ. Это коллекція исключительно однихъ только нравственныхъ уродовъ, агломератъ грязи, беззастѣнчивой лжи, лицемѣрія, своекорыстія, коварнаго предательства и взаимнаго поголовнаго надувательства. Что касается до главнаго героя, Сергѣя Петровича Хазарова, отставного поручика, то о красотѣ его авторъ отзывается такъ: «о подобныхъ физіономіяхъ существуетъ два совершенно противуположныхъ мнѣнія. Одни говорятъ, что это—красавцы, миленькіе, даже молодцы, мало этого, Аполлоны Бельведерскіе; другіе же называютъ ихъ смазливыми рожицами, моськами, расписными купидонами и даже форейторами, смотря по тому,какой у кого эпитетъ ближе на языкѣ».При такой своеобразной красотѣ и нѣжномъ влюбчивомъ сердцѣ, Хазаровъ является тѣмъ не менѣе вполнѣ кандидатомъ въ червонные валеты и съ каждой страницей становится въ глазахъ вашихъ гаже и гаже, такъ что въ концѣ концовъ вы не можете дать себѣ отчета, въ чемъ онъ подлѣе—въ ухаживаніи ли своемъ за Мари Ступициной, страсть къ которой разгорается въ немъ особенно сильно, когда онъ узнаетъ, что за дѣвушкой назначено солидное приданое, въ страстномъ ли объясненіи въ любви Варварѣ Александровнѣ Мамоновой, съ цѣлью сдѣлаться при ней альфонсомъ и выпутаться изъ долговъ посредствомъ ея денегъ, или-же въ безчеловѣчномъ и исполненномъ черной неблагодарности выпроваживаніи взашеи квартирной хозяйки Замшевой, пришедшей къ нему напомнить о старомъ долгѣ.

Но если хорошъ Ромео, то и Юлія, въ лицѣ Маріи Ступицыной, ни мало ему не уступаетъ. Наивный ребенокъ, только и занимавшійся игрою съ котятами, она быстро превращается въ женщину, знающую себѣ цѣну и въ обиду не дающуюся. Это не Анна Павловна, способная умереть отъ безотвѣтной страсти, и когда

мужъ охладѣваетъ и измѣняетъ ей, она въ свою очередь тотчасъ-же пускается въ амуры съ смазливенькимъ офицеромъ.

Единственной добродѣтельной личностью въ повѣсти является Варвара Александровна Мамонова, женщина бальзаковскаго возраста, поклонница Жоржъ Занда, мечтающая о женской эмансипаціи; она одна изъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ повѣсти является способной къ безкорыстному порыву, любитъ покровительствовать молодымъ людямъ, пылающимъ взаимною нѣжною страстью, и не жалѣетъ денегъ, содѣйствуя ихъ соединенію. Но въ то же время она является непроходимой сентиментальной дурой, которую ничего не стоитъ водить за носъ пройдохамъ и плутамъ вродѣ Хазарова. Чтобы сдѣлать ее еще болѣе карикатурной, Писемскій не преминулъ ввернуть саркастическую черточку, показывающую, какъ онъ къ началу пятидесятыхъ годовъ начиналъ уже относиться къ вопросу о женской эмансипаціи:

«Въ послѣднее время Варвара Александровна сдѣлала еще шагъ въ прогрессѣ эмансипаціи: она стала курить. На первыхъ порахъ этотъ подвигъ былъ весьма труденъ для молодой дамы; у ней обыкновенно съ половины выкуренной папиросы начинала кружиться голова до обморока; *но чего не сдѣлаетъ женщина, стремящаяся встать въ уровень съ вѣкомъ?* Мамонова пріучила свои нервы, и въ настоящее время могла уже выкуривать по три папиросы вдругъ».

Такимъ образомъ вотъ уже когда начинался мало-по малу развиваться въ Писемскомъ скептицизмъ относительно всѣхъ новыхъ вѣяній. Скептицизмъ этотъ имѣлъ отнюдь не какой либо принципіальный характеръ, а былъ прямымъ слѣдствіемъ именно того процесса заѣданія средою, какому подвергся Писемскій во время своей провинціальной жизни. Годъ отъ году университетскія вліянія сглаживались, наружная чешуя спадала, а подъ этой чешуей раскрывался мелкопомѣстный дворянинъ со всѣмъ тѣмъ захолустнымъ міросозерцаніемъ, какое свойственно было его землякамъ одного съ нимъ круга. Онъ словно возвращался помаленьку подъ отчій кровъ.

Въ самомъ дѣлѣ, вы только вдумайтесь въ характеръ пессимизма, какой окончательно развился въ «Тюфякѣ» и «Бракѣ по страсти», и сличите его съ міросозерцаніемъ нетронутаго цивилизаціей средняго человѣка уѣздной глуши, и васъ сразу поразитъ тождество того и другого. Въ основѣ этого міросозерцанія вслѣдствіе тяжкихъ опытовъ борьбы за существованіе, въ средѣ, чуждой всякихъ духовныхъ интересовъ, лежитъ убѣжденіе, что *человѣкъ по существу* своему подлецъ, руководящійся однимъ

практическими разсчетами, изъ разныхъ своекорыстныхъ, а подъчасъ и грязныхъ побужденій, а по сему съ каждымъ ближнимъ надо держать ухо востро и имѣть камень за пазухой. Отсюда прямо происходитъ тотъ поголовный, взаимный судъ другъ надъ другомъ, въ которомъ не прощается ближнему ни одна комическая черта или слабость; нѣтъ правыхъ, и всѣ въ одинаковой степени заподозрѣваются и забрасываются грязью. Но съ особенной строгостью обрушивается этотъ судъ на всѣхъ тѣхъ, которые имѣютъ претензію возвышаться надъ средой по своему уму, образованію или нравственнымъ качествамъ. Это обусловливается съ одной стороны тѣмъ, что на человѣка, претендующаго отличаться отъ всѣхъ, естественно возлагается большая и отвѣтственность за свои поступки; а съ другой—здѣсь дѣйствуетъ и совѣсть, желающая во что-бы то ни стало оправдаться и возвыситься въ своемъ ничтожествѣ: «а, ты воображаешь, что ты выше насъ, а мы нисколько не хуже тебя, а пожалуй будемъ и получше!»

Подчиняясь впродолженіи долгихъ лѣтъ невольному вліянію этого уѣзднаго міросозерцанія, Писемскій невольно до извѣстной степени заразился имъ.

Такимъ образомъ и создался этотъ смѣхъ ради одного смѣха, поражавшій современниковъ своей безпринципностью, безъидеальностью, безысходнымъ пессимизмомъ. Обратите при этомъ вниманіе, что уже въ первыхъ повѣстяхъ Писемскаго, задолго до появленія романа его «Взбаломученное Море», люди высшаго образованія, передовыхъ идей и новыхъ вѣяній выводятся возмутительными негодяями и пошляками и въ этомъ отношеніи далеко оставляютъ за собою самыхъ безобразнѣйшихъ уродовъ необразованной среды. До нѣкоторой степени вы миритесь еще съ тѣми фактами, что получившій высшее образованіе Эльчаниновъ въ нравственномъ отношеніи пасуетъ передъ нигдѣ неучившимся Савеліемъ, такъ какъ у Савелія вы встрѣчаете нѣсколько чертъ положительныхъ, заслуживающихъ полнаго уваженія и симпатій. Въ повѣсти-же «*Богатый женихъ*», написанной въ 1851 году, герой ея Шамиловъ, претендующій на высшее философское образованіе, вѣчно возящійся съ книгами, которыхъ не въ состояніи одолѣть, статьями, которыя только начинаетъ, съ тщетными надеждами окончить когда-либо кандидатскій экзаменъ,—не выдерживаетъ сравненія даже съ полоумнымъ Степушкой, игравшимъ роль шута, надъ которымъ всѣ въ обществѣ потѣшались; даже и этотъ Степушка оказался вдругъ и постояннѣе, и честнѣе въ своей

любви къ Вѣрѣ Павловнѣ, чѣмъ Шамиловъ, погубившій своей дрянной безхарактерностью дѣвушку и затѣмъ, какъ ни въ чемъ не бывало, кончившій женитьбой по разсчету на богатой вдовушкѣ и жалкой ролью мужа, живущаго на содержаніи и подъ башмакомъ злой и капризной бабы.

Осмѣявши въ Эльчаниновѣ и Шамиловѣ Рудиныхъ, процвѣтавшихъ въ то время на почвѣ университетскаго образованія и философскаго движенія, не пощадилъ Писемскій и не вполнѣ сошедшій еще со сцены въ то время типъ гусарско-печоринскій. Правда, типъ этотъ давно уже не красовался на столь высокомъ пьедесталѣ, какъ въ 30-е годы, и не блестѣлъ въ столичномъ большомъ свѣтѣ; тѣмъ не менѣе продолжалъ еще встрѣчаться не рѣдко въ провинціи, гдѣ онъ чуть что не до конца пятидесятыхъ годовъ обращался, какъ старыя и истертыя монеты. Подобнаго рода уѣздные демоны-сердцеѣды выведены Писемскимъ въ «Тюфякѣ» въ лицѣ Бахтіарова и въ повѣсти «М-г Батмановъ» — въ героѣ, носящемъ эту самую фамилію, причемъ, совлекая съ нихъ великолѣпные байроновскіе плащи, безпощадный авторъ превращаетъ ихъ въ самыхъ заурядныхъ и пошлыхъ провинціальныхъ хлыщей и заставляетъ ихъ кончать не какой-либо трагической смертью, а самымъ прозаическимъ бракомъ съ богатыми купчихами, ради избавленія отъ голодной смерти. Впрочемъ одному только Бахтіарову удается вступить въ законное супружество съ племянницей тятенькиныхъ милліоновъ и продолжать донъ-жуанствовать, живя на иждивеніи своей жены; Батмановъ же, будучи въ большей степени Печоринымъ, чѣмъ Бахтіаровъ, кончаетъ еще печальнѣе: уѣзжаетъ въ Сибирь и дѣлается тамъ просто на просто альфонсомъ, подъ видомъ управителя дѣлами одной пожилой и очень богатой вдовы-купчихи, живетъ у нея въ домѣ, ходитъ весь залитый въ брилліантахъ, носитъ черкесское платье, ѣздитъ по городу на красивыхъ рысакахъ и поитъ общество на-убой шампанскимъ «Чѣмъ, подумаешь, не разрѣшалось русское разочарованіе!» саркастически воскликнулъ Писемскій въ концѣ своей повѣсти.

Безпринципность творчества Писемскаго лишь въ самомъ началѣ его литературной дѣятельности носила характеръ наивной непосредственности. Мало по малу она вошла въ сознаніе писателя, оформилась въ видѣ особенной эстетической теоріи, кото-

рую Писемскій исповѣдывалъ всю свою жизнь, находя въ ней оправданіе отсутствія въ его произведеніяхъ идеаловъ и задачъ.

Чтобы познакомить читателей съ эстетической теоріей Писемскаго, мы прежде всего обратимся къ критической статьѣ его, которая была напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1855 г. по поводу выхода второй части «Мертвыхъ Душъ» Гоголя.

Въ первой половинѣ статьи авторъ дѣлаетъ характеристику русской литературы до Гоголя и во время его и указываетъ, что существенными недостатками нашей литературы до Гоголя было во-первыхъ стремленіе выйти изъ себя, написать нѣчто сверхъ своихъ силъ и душевнаго содержанія, а во вторыхъ, какъ результатъ этого—«сочинительство, книжность». Недостатки эти замѣчаетъ Писемскій даже въ наиболѣе реальныхъ произведеніяхъ догоголевскаго періода, какъ-то: въ комедіяхъ Фонвизина и въ «Горѣ отъ ума» Грибоѣдова. А о современныхъ Гоголю популярныхъ писателяхъ—Марлинскомъ, Полевомъ, Кукольникѣ, Бенедиктовѣ и говорить нечего!

«Никто конечно не позволитъ себѣ сказать, — читаемъ мы въ статьѣ Писемскаго, - чтобы всѣ эти писатели не владѣли талантами и талантами, если хотите, довольно яркими, но замѣчательно, что всѣ они, при видимомъ разнообразіи, имѣютъ одно общее направленіе, ушедшее совершенно въ иную сторону отъ истинно поэтическаго движенія, сообщеннаго было Пушкинымъ; направленіе, которое я иначе не могу назвать, какъ направленіемъ *напряженности*, *стремленіемъ сказать больше своего пониманія—выразить страсть, которая сердцемъ не пережита* — словомъ, создать что-то выше своихъ творческихъ силъ».

Съ Гоголя начинается новая эпоха въ нашей литературѣ, потому что онъ все это пересоздаетъ: онъ первый даетъ типическій языкъ каждому типу.» Но, по мнѣнію Писемскаго, и Гоголь не былъ вполнѣ изъятъ отъ тѣхъ-же недостатковъ, присущихъ нашей литературѣ. Такъ, указывая на извѣстныя дидактическія задачи, которыя ставитъ Гоголь для своего творчества въ своей «*Авторской исповѣди*», Писемскій рѣшительно отрицаетъ ихъ:

«На первый взглядъ покажется, — говоритъ онъ, — что подобную задачу, достойную великаго мастера, Гоголь принимаетъ на себя съ величайшей добросовѣстностью и что иначе приступить къ ней нельзя; но надобно быть хоть немного знакомымъ съ процессомъ творчества, чтобы понять, до какой степени этотъ пріемъ искусственъ и какъ мало въ немъ довѣрія къ инстинкту художника. Положительно можно сказать, что Шекспиръ, воспроизводя жизнь въ ея многообразной полнотѣ, создавая идеалы добра и порока, никогда ни къ одному изъ своихъ произведеній не приступалъ съ подобнымъ, напередъ составленнымъ

правиломъ, и бралъ изъ души только то, что накопилось въ ней и требовало изліянія въ ту или въ другую сторону. Поэтъ узнаетъ жизнь, живя въ ней самъ, втянутый въ ея коловоротъ за самый чувствительный нервъ, а не посредствомъ собиранія писемъ и отбиранія показаній отъ различныхъ свѣдущихъ людей. Ему не для чего устраивать въ душѣ своей судъ присяжныхъ, которые говорили бы ему, виновенъ онъ или не виновенъ, а освѣщая жизнь даннымъ ему отъ природы свѣтомъ таланта, онъ узнаетъ и видитъ ее яснѣе всякаго трудолюбиваго собирателя фактовъ».

На этомъ основаніи Писемскій, будучи въ восторгѣ отъ всѣхъ отрицательныхъ типовъ второй части «Мертвыхъ Душъ», въ то-же время относится крайне неодобрительно къ типамъ Улиньки, Костанжогло и Муратова, считая ихъ лицами, не взятыми непосредственно изъ жизни, а сочиненными, и находя въ нихъ «рѣшительное преобладаніе идеи надъ формой». При этомъ Писемскій выражаетъ свое сожалѣніе, что между друзьями Гоголя, которымъ онъ читалъ вторую часть «Мертвыхъ Душъ», не нашелся искренній голосъ, который сказалъ-бы ему:

«Ты писалъ не грязныя побасенки, но вывелъ и растолковалъ глубокое значеніе народнаго смѣха. Ты—великій, по твоей натурѣ, юмористъ, но не лирикъ, и весь твой лиризмъ поглощается юморомъ твоимъ, какъ поглощается ручеекъ далеко, бойко и широко несущейся рѣкою. Ты—не безнравственный писатель, потому что, выводя и осмѣивая черную сторону жизни, возбуждаешь въ читателѣ совѣсть. Неужели по твоей чуткости къ пороку, къ смѣшному, ты не раскрываешь добра собственной души гораздо нагляднѣе какого-нибудь поэта, кокетствующаго передъ публикой поэтическимъ чувствомъ? Смотри: одновременно съ тобой дѣйствуютъ на умы два родственные тебѣ по таланту писателя Диккенсъ и Теккерей. Одинъ успокоиваетъ себя и читателя на сладенькихъ въ англійскомъ духѣ героиняхъ, а другой хоть, можетъ быть, и не столь глубокій сердцевѣдецъ, но зато онъ всюду безпристрастно и отрицательно господствуетъ надъ своими лицами и постоянно вѣренъ своему таланту. Скажи, кто изъ нихъ лучше совершаетъ свое дѣло?»

Заканчиваетъ-же Писемскій свою статью слѣдующими многозначительными словами:

«Наконецъ, въ заключеніе, могу пожелать всѣмъ нашимъ писателямъ настоящаго времени, призваннымъ проводить животворное начало Гоголя или внести въ литературу свое новое, — одного: чтобъ, имѣя въ виду ошибки великаго мастера, каждый шелъ по истинному пути, не насилуя себя, и, оставаясь къ себѣ строгимъ въ эстетическомъ отношеніи, говорилъ, сообразуясь съ средствами своего таланта, публикѣ *правду*».

Нѣчто подобное высказывалъ Писемскій двадцать лѣтъ спустя, въ 1877 году, въ письмѣ профессору Буслаеву, писанному въ

отвѣтъ на присылку профессоромъ своей рѣчи о значеніи романа. Письмо это интересно въ томъ отношеніи, что заключаетъ въ себѣ нѣкоторые автобіографическія данныя о развитіи эстетическихъ понятій Писемскаго. Это заставляетъ насъ привести его цѣликомъ:

«Вы отъ романа, совершенно справедливо считаемаго вами за самаго распространеннаго и прочнаго представителя современной художественной литературы, требуете дидактики, поученія, такъ какъ онъ *можетъ популяризировать всю необъятную массу свѣдѣній и многовѣковыхъ опытовъ*». Дѣйствительно, не связанный ни трудною формою чисто лирическихъ произведеній, ни строгою вѣрностью событіямъ историческихъ повѣствованій, ни тѣсными рамками драмы, романъ свободнѣй на ходу своемъ и можетъ многое захватить и многое раскрыть, но достигаетъ ли онъ этого на практикѣ, какъ только авторъ задалъ себѣ подобную задачу? На это безошибочно можно отвѣтить, что нѣтъ! Нѣкоторые романисты нашего вѣка: французскіе, нѣмецкіе и англійскіе пытались явно поучать публику: въ романѣ у Евгенія Сю «Семь смертныхъ грѣховъ» показано, какъ наказываются на землѣ смертные грѣхи; у нѣмцевъ есть, что какой-нибудь юный лавочникъ высказываетъ столько возвышенныхъ мыслей и благородныхъ чувствованій, что читатель хочетъ не хочетъ, а долженъ повидимому слушаться сего юноши. У насъ Чернышевскій, въ романѣ своемъ «Что дѣлать?», назначилъ даже современному человѣчеству, какую оно должно имѣть квартиру и какъ та должна быть раздѣлена. Но увы! Это глупое человѣчество не устрашилось нисколько представленными картинами Евгенія Сю и продолжаетъ по-прежнему творить смертные грѣхи; лавочнику никто не вѣритъ въ искренности его словъ, и онъ все-таки остается лавочникомъ; квартиръ своихъ пока никто не дѣлитъ и не устраиваетъ по плану автора «Что дѣлать?», и всѣмъ симъ поучительнымъ произведеніямъ, полагаю, угрожаетъ скорое и вѣчное забвеніе. Но не такова судьба бывшихъ старыхъ романистовъ. Беру на выдержку: Сервантесъ, врядъ-ли думавшій кого-либо поучать своимъ «Донъ-Кихотомъ», явилъ только картину умирающаго рыцарства, и она помнится всѣмъ читающимъ міромъ. Смолетъ, описавшій морскіе нравы, далъ намъ такія изъ мѣди литыя фигуры, по которымъ хорошо пойметъ каждый, какого закала англійская раса; Вальтеръ-Скоттъ запечатлѣлъ на вѣки-вѣчные въ умахъ человѣчества старую, поэтическую Шотландію; даже Жоржъ Зандъ, повидимому самая тенденціозная писательница (во времена моей и нашей молодости, вы конечно это помните, она считалась у насъ въ Россіи растолкователь-ницей и чуть-ли даже не покровительницей Евангелія), но въ этомъ случаѣ, мнѣ кажется, на нее совершенно клеветали: Жоржъ Зандъ была не проповѣдница, а страстная, поэтическая натура. Она описывала только тѣ среды, которыя ея женское сердце или заѣдали, или вдохновляли. У насъ ни Пушкинъ, создавшій намъ «Евгенія Онѣгина» и «Капитанскую дочку», ни Лермонтовъ, нарисовавшій «Героя нашего времени» неотразимо крупными чертами, нисколько, кажется, не помышляли о поученіи и касательно читателя держали себя такъ: «*все это клади въ мѣшокъ, а дома разберешь*, что тебѣ пригодно и что

нѣтъ». Въ Гоголѣ, при всей высотѣ его комическаго полета, къ сожалѣнію, въ концѣ его дѣятельности мы видимъ совершенно противоположное явленіе: сбитый съ толку разными своими совѣтчиками, лишенными эстетическаго разума и рѣшительно не понимавшими ни характера, ни предѣловъ дарованія великаго писателя, онъ еще въ «Мертвыхъ Душахъ» пытался поучить русскихъ людей посредствомъ лирическихъ отступленій и возгласовъ: «Ахъ, тройка, птица тройка», и въ своемъ поползновеніи явить образецъ женщины въ особѣ бе смысленной Улиньки (послѣ Пушкинской Татьяны!), а въ концѣ концовъ въ перепискѣ съ друзьями дошелъ наконецъ до чертиковъ. Признаюсь, писемъ съ подобными претензіями и въ то же время фразистыхъ и пошлыхъ я не читывалъ ни у одного самаго глупаго и бездарнаго писателя. Но перехожу опять къ роману, въ отношеніи котораго мое такое убѣжденіе, что онъ, какъ всякое художественное произведеніе, долженъ быть рожденъ, а не придуманъ, что, бывши плодомъ матеріальнаго и душевнаго организма автора, въ то же время долженъ представить концентрированную дѣйствительность: будь то внѣшняя, открытая дѣйствительность или потаенная психическая — лично меня всѣ считаютъ реалистомъ-писателемъ, и я именно таковъ, хотя въ то же время съ самыхъ раннихъ лѣтъ искренно и глубоко сочувствовалъ писателямъ и другого пошиба, только желалъ одного—чтобы было дѣло въ умныхъ рукахъ. Подкрѣплю это примѣромъ. Въ концѣ тридцатыхъ годовъ сильно гремѣлъ Кукольникъ своими патріотическими драмами и повѣстями изъ жизни художниковъ съ безконечными толками объ искусствѣ. Все это, мнѣ было противно читать, и я инстинктивно чувствовалъ, что нѣтъ тутъ ни патріотизма, ни драматизма, ни художества, ни художниковъ, а есть только истерическіе крики! Затѣмъ, когда я уже сдѣлался студентомъ, я прочелъ «Вильгельма Мейстера». Не могу описать того благоговѣйнаго восторга, который овладѣлъ мною; изъ бесѣдъ и разговоровъ дѣйствующихъ лицъ я познакомился съ цѣлой теоріей драматическаго и сценическаго искусства». «Гете», воскликнулъ я, «точно выворачиваетъ все мое нутро!... Онъ освѣтилъ какъ-бы искрой электрической все, что копошилось и въ моихъ скудныхъ помыслахъ объ драматическомъ искусствѣ». Потомъ другой примѣръ: въ половинѣ сороковыхъ годовъ стали появляться писатели, стремящіеся описывать тонкія ощущенія и возвышенныя чувствованія выводимыхъ ими лицъ. Бѣдняжки, они при этомъ становились на цыпочки, вытягивали, сколько могли, свои мозговыя руки, чтобы дотянуться до своихъ не очень высокихъ героевъ, и вдругъ, какъ-бы ради уничтоженія сего направленія, былъ переведенъ на русскій языкъ (въ «Современникѣ» кажется) романъ Гете «Предрасполагающее сродство», гдѣ могучій поэтъ видимо безъ всякаго труда и сверху переставилъ, какъ шашки, нѣсколько лицъ, исполненныхъ тончайшихъ ощущеній и самаго возвышеннаго образа мыслей. Ни дать, ни взять, какъ волъ обо... муравьевъ.

Чувствую, почтеннѣйшій Ѳеодоръ Ивановичъ, что я написалъ вамъ не столько разсужденій и возраженій, сколько исповѣдь своихъ личныхъ эстетическихъ воззрѣній. Но что же дѣлать? Такъ написалось, и въ заключеніе скажу еще два-три слова: вы мнѣ какъ-то говорили: «вы, романисты, должны насъ учить, какъ жить; ни религія, ни философія, ни наука вообще для этого не годится». А мы, романисты, съ

своей стороны можемъ сказать: «а вы, гг. критики и историки литературы, должны насъ учить, какъ писать». Въ сущности ни то, ни другое не нужно. а желательно, чтобы это шло рука объ руку, какъ это и было при Бѣлинскомъ и продолжалось нѣкоторое время послѣ него. Бѣлинскій въ этомъ случаѣ былъ замѣчательное явленіе; онъ не столько любилъ свои писанія, сколько то, о чемъ онъ писалъ, и какъ самъ, говорятъ, выражался про себя—онъ былъ *недоносокъ художникъ* (онъ, какъ извѣстно, написалъ драму и, по слухамъ, неудачную), и потому такъ высоко цѣнилъ доносковъ-художниковъ»

Къ этому всему можно присоединить свидѣтельство г. Авсѣенко, что *Писемскій считалъ выше всего эпическое творчество*, а также выраженное Писемскимъ мнѣніе въ письмѣ къ Тургеневу въ апрѣлѣ 1877 года по поводу романа «Нови», что *художникъ прежде всего долженъ быть объективнымъ и безпристрастнымъ, и вовсе не обязанъ писать для услады какихъ-либо партій.*

Итакъ, отрицаніе какого-бы то ни было сочинительства, требованіе отъ художниковъ одной правды и поставленіе выше всего спокойнаго и безпристрастнаго эпическаго творчества, чуждаго какой-бы то ни было партійности,—такова была сущность эстетическихъ взглядовъ Писемскаго. Нечего и говорить о томъ, что по существу всѣ эти положенія, очень почтенныя, составляютъ азбуку реализма. Но только сами по себѣ они не идутъ далѣе азбуки и далеко не исчерпываютъ всѣхъ задачъ искусства. Начать съ того, что прежде чѣмъ вы будете требовать отъ искусства правды, вы обязаны разъяснить намъ, что вы подразумѣваете подъ этой правдой и какой именно правды вы ожидаете отъ искусства. Правда правдѣ рознь. Бываетъ правда глубокая, философская, опредѣляющая цѣну и значеніе вещей и ихъ взаимныя отношенія, бываетъ и правда внѣшняя, поверхностная, плоская. Бываетъ правда всеобщая и односторонняя. Когда какая-нибудь уѣздная кумушка перебираетъ всѣ косточки своихъ ближнихъ, она въ свою очередь можетъ быть правдива въ своихъ сужденіяхъ и приговорахъ, но развѣ это та самая высшая, философско-художественная правда, которую мы встрѣчаемъ въ произведеніяхъ Гете?

Затѣмъ когда мы видимъ, что художникъ, вродѣ напримѣръ Гоголя, изображаетъ одни отрицательныя явленія жизни, мы не отрицаемъ въ произведеніяхъ его правду, хотя-бы одностороннюю, если художникъ не спѣшитъ эти отрицательныя явленія возвести во всеобщій законъ жизни и увѣрить насъ, что въ жизни ничего нѣтъ и быть не можетъ кромѣ выводимыхъ имъ отрица-

тельныхъ явленій. Но если онъ вздумаетъ насъ увѣрить, что вся жизнь исчерпывается тѣми мерзостями, какія онъ изображаетъ, что подъ личиною всѣхъ чистыхъ побужденій и высокихъ и чистыхъ помысловъ таится та-же низменная житейская грязь, то — какъ-бы онъ ни казался правдивъ — мы все-таки скажемъ, что въ изображеніяхъ его нѣтъ правды, такъ какъ онъ клевещетъ на жизнь, даетъ ложное понятіе о ней, изображая ее исключительно въ однѣхъ черныхъ краскахъ.

И если мы, обратясь къ самимъ произведеніямъ Писемскаго, посмотримъ, какъ практически осуществлялъ онъ свою теорію и какую онъ давалъ намъ *правду*, то мы должны будемъ сознаться, что это была правда злая, крайне пессимистическаго свойства, правда, обливающая васъ ушатомъ холодной воды и разочаровывающая въ людяхъ; однимъ словомъ, такого свойства правда, какую подразумѣваютъ, когда желаютъ охладить пылъ влюбленнаго человѣка и говорятъ ему: хотите, я разскажу вамъ о вашей возлюбленной всю *правду*. И однимъ такимъ обѣщаніемъ даютъ понять, что отъ этой правды возлюбленной не поздоровится.

Если такого рода прокурорски-обличительную правду сопоставите съ требованіемъ спокойнаго и безпристрастнаго объективизма, то на васъ пахнетъ сразу чѣмъ-то крайне вамъ знакомымъ, такими рѣчами, которыя раздавались такъ еще недавно. Ба, да вѣдь *правда* Писемскаго это тотъ-же безпристрастно-научный протоколизмъ Золя, и въ произведеніяхъ Писемскаго передъ вами воскресаетъ во весь ростъ пресловутый французскій натурализмъ со всѣми его несимпатичными свойствами: то же отрицаніе какой-бы то ни было тенденціозности или идеализма, тотъже холодный разъѣдающій анализъ, всѣ явленія человѣческой жизни подводящій подъ одни и тѣ-же итоги физіологически неизмѣнныхъ побужденій, и тотъ-же пессимизмъ, не видящій въ жизни ничего возвышающагося надъ этими побужденіями. Писемскій такимъ образомъ лѣтъ на двадцать предупредилъ Золя и совершенно самобытно создалъ на Руси именно ту самую отрасль реализма, которая является на свѣтъ каждый разъ, когда художники отказываются отъ проведенія какихъ-бы то ни было идей въ своихъ произведеніяхъ и низводятъ искусство къ безцѣльному копанью въ тинѣ житейской грязи. Единственно, чего недоставало Писемскому, чтобы вполнѣ уподобиться французскимъ натуралистамъ,—ихъ страсти къ мелкой детальности и чудовищному нагроможденію внѣшнихъ аксессуаровъ жизни. Но зато не усту-

палъ Писемскій, особенно въ позднѣйшихъ своихъ произведеніяхъ, французскимъ натуралистамъ въ откровенномъ разоблаченіи альковныхъ тайнъ.

IV.

Литературная дѣятельность Писемскаго съ 1850 по 1853 г.—Переселеніе въ Петербургъ.—Характеристика Писемскаго П. В. Анненковымъ, какъ человѣка. — Мнительность Писемскаго. — Жизнь Писемскаго въ Петербургѣ въ 50-е годы.—Служба въ деп. удѣловъ.—Нужда.—Отношенія къ издателямъ.—Командировка въ Астрахань.—Переходъ въ «Библіотеку для Чтенія» и принятіе званія редактора этого журнала.—Романъ «Тысяча Душъ».

Ободренный успѣхомъ двухъ первыхъ своихъ произведеній, напечатанныхъ въ «Москвитянинѣ», Писемскій дѣятельно принялся за литературный трудъ, и въ періодъ съ 1850 по 1854 годъ успѣлъ помѣстить въ различныхъ журналахъ цѣлый рядъ повѣстей, комедій, романовъ, очерковъ изъ народнаго быта, каковы были: «*Комикъ*», «*Ипохондрикъ*», «*Богатый Женихъ*», «*Питерщикъ*», «*М-г Батмановъ*», «*Раздоръ*», «*Лѣшій*», «*Фанфаронъ*». По словамъ Анненкова, Писемскій давно уже питалъ намѣреніе бросить службу, на которой состоялъ въ Костромѣ—ассесоромъ губернскаго правленія. Успѣхъ его разсказовъ заставилъ его подумать о болѣе широкой аренѣ дѣятельности и о переселеніи въ которую-либо изъ нашихъ столицъ. Всѣ симпатіи его были на сторонѣ Москвы, гдѣ началась его литературная карьера, и гдѣ онъ имѣлъ много друзей; но практическій его умъ подсказалъ ему мысль, что въ Москвѣ пріобрѣтается почетное имя, но только въ Петербургѣ завоевывается твердое общественное положеніе. Писемскій завязалъ отношенія съ однимъ изъ редакторовъ «Современника», И. И. Панаевымъ, и послалъ въ журналъ этотъ свой романъ «Богатый Женихъ» (1851). Представители только-что создавшейся и упрочившейся «*натуральной школы*», при своемъ отрицательномъ отношеніи къ русской жизни, тѣмъ охотнѣе приняли Писемскаго въ свои ряды, чѣмъ безотраднѣе былъ пессимизмъ его произведеній. Никому *не приходило въ то время* и въ голову, что пессимизмъ этотъ при *своей безпринципности* не щадитъ ни своихъ, ни чужихъ, и въ выс-

шей степени курьезный видъ имѣло появленіе въ журналѣ, стоявшемъ во главѣ передовой русской интеллигенціи, повѣсти «Богатый Женихъ», въ которой эта самая интеллигенція въ лицѣ Шамилова смѣшивалась съ грязью и въ нравственномъ отношеніи выставлялась ниже уѣздныхъ неучей - митрофанушекъ вродѣ дурачка Степушки. Но въ то печальное время всѣ литературныя партіи находились въ хаотическомъ смѣшеніи, и каждая редакція охотно помѣщала на своихъ страницахъ произведеніе, блещущее сильнымъ талантомъ, не вдумываясь глубоко, на сколько оно сходится или расходится съ духомъ и направленіемъ журнала.

Что же касается самого Писемскаго, то какъ стремленію его въ Петербургъ, такъ и появленію на страницахъ «Современника» много способствовало то обстоятельство, что онъ относился совершенно индифферентно ко всѣмъ боровшимся въ то время литературнымъ партіямъ, и при всѣхъ своихъ московскихъ литературныхъ симпатіяхъ такъ-же былъ далекъ отъ славянофильскихъ тенденцій, какъ и отъ западническихъ. Вотъ что говоритъ по этому поводу Анненковъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Писемскомъ:

«Несмотря на духовное родство съ народомъ, Писемскій не былъ славянофиломъ. Онъ вывезъ только и сберегъ въ Петербургѣ гордость своимъ происхожденіемъ, въ нравственномъ смыслѣ, отъ Москвы и затѣмъ чрезмѣрное хвастовство ею, что́ было ему обще со всѣми москвичами. Москву же онъ любилъ совсѣмъ не за ея святыни, не за историческія воспоминанія, съ нею связанныя, и громкое, всесвѣтное имя, ею носимое, о чемъ никогда и не упоминалъ, а скорѣе за то, что тамъ не принимали органическихъ проявленій страсти и жизненной энергіи за распутство, не обзывали преступленіемъ всякое уклоненіе отъ полицейскаго порядка, и что въ городѣ, гдѣ по временамъ скоплялась цѣлая многотысячная армія изъ однихъ мужиковъ и разночинцевъ со всѣхъ концовъ имперіи, труднѣе было слѣдить за чистотой нравовъ по уставамъ благочинія. Петербургъ казался Писемскому созданнымъ на то, чтобы показать, сколько можетъ быть безжизненности въ порядкѣ и возмутительныхъ явленій подъ покровомъ честности и стройности. Прочитавъ въ запискахъ Берхгольца о пирахъ въ нѣсколько сутокъ безъ отдыха, даваемыхъ основателемъ столицы, о курантахъ, заведенныхъ имъ на башняхъ и въ извѣстные часы дня игравшихъ на весь городъ свои мелодіи, Писемскій замѣтилъ: «Петру I это было совершенно необходимо для того, чтобы подданные его не померли всѣ со скуки въ новомъ городѣ». Напрасно старались друзья Писемскаго растолковать ему значеніе Петербурга по своему. Молча выслушивалъ онъ ихъ размышленія о томъ, что городъ этотъ предназначенъ исправлять народныя увлеченія, мѣшать развитію исключительнаго поклоненія своему племени, что́ останавливаетъ ходъ исторіи, проверять наукой и опытомъ смутные идеалы народныхъ массъ и проч., и проч. *Писемскій* отвѣчалъ большей частью на эти замѣтки шуточками,

вродѣ слѣдующей: «Можетъ быть и точно, - говорилъ онъ,—что Петербургъ—хорошій педагогъ, но я всегда ненавидѣлъ своихъ педагоговъ, хотя и боялся ихъ смертельно».

Съ такими взглядами, основывавшимися болѣе на непосредственномъ чувствѣ, чѣмъ на какихъ-либо разсудочныхъ соображеніяхъ и теоріяхъ, переселился Писемскій въ 1853 году въ Петербургъ и сразу поразилъ всѣхъ петербургскихъ литераторовъ особеннымъ, специфическимъ провинціальнымъ духомъ.

«Трудно себѣ и представить - говоритъ Анненковъ въ своихъ воспоминаніяхъ—болѣе полный, цѣльный типъ чрезвычайно умнаго и вмѣстѣ оригинальнаго провинціала, чѣмъ тотъ, который явился въ Петербургѣ въ образѣ молодого Писемскаго, съ его крѣпкой, коренастой фигурой, большой головой, испытующими, наблюдательными глазами и лѣнивой походкой. На всемъ его существѣ лежала печать какой-то усталости, пріобрѣтаемой въ провинціи отъ ея халатнаго, распущеннаго образа жизни и скораго удовлетворенія разныхъ органическихъ прихотей. Съ перваго взгляда на него рождалось убѣжденіе, что онъ ни на волосъ не измѣнилъ обычной своей физіономіи, не прикрасилъ себя никакой, болѣе или менѣе интересной и хорошо придуманной чертой, не припарадился моралью, какъ это обыкновенно дѣлаютъ люди, впервые являющіеся передъ незнакомыми лицами. Ясно дѣлалось, что онъ вышелъ на улицы Петербурга точно такимъ, какимъ сѣлъ въ экипажъ, отправляясь изъ своего родного гнѣзда. Онъ сохранилъ всего себя, начиная съ своего костромского акцента («кабинетъ Панаева поражаетъ меня великолѣпіемъ», говоритъ онъ послѣ свиданья съ щеголеватымъ редакторомъ «Современника») и кончая насмѣшливыми выходками по поводу столичной утонченности жизни, языка и обращенія.

«Все было въ немъ откровенно и просто. Онъ производилъ на всѣхъ впечатлѣніе какой-то *диковинки* посреди Петербурга, но диковинки не простой, мимо которой проходятъ, бросивъ на нее взглядъ, а такой, которая останавливаетъ и заставляетъ много и долго думать о себѣ... Нельзя было подмѣтить ничего вычитаннаго, затверженнаго на память, захваченнаго со стороны въ его рѣчахъ и мнѣніяхъ. Всѣ сужденія принадлежали ему, природѣ его практическаго ума, и не обнаруживали никакого родства съ ученіями и вѣрованіями, наиболѣе распространенными между тогдашними образованными людьми. Кругомъ Писемскаго въ ту пору существовало еще въ Петербургѣ много мыслей и моральныхъ идей, признанныхъ безспорными и которыя изъяты были навсегда изъ преній, какъ очевидныя истины. Писемскій оказался врагомъ большей части этихъ непреложныхъ догматовъ цивилизаціи. Такъ, ученіе, исповѣдуемое почти единогласно развитыми людьми всѣхъ оттѣнковъ Петербурга, о правахъ жены и женщины на полную свободу, въ которой имъ отказываетъ еще современное общество,—нашло въ немъ очень оригинальнаго скептика. Помню изумленіе въ кругу петербургскихъ гуманистовъ, возбуждаемое его мнѣніемъ, что женщина составляетъ только подробность

въ жизни мужчины и сама по себѣ, взятая единолично, не имѣетъ значенія, что обязанности мужа къ женѣ исчерпываются возможно лучшимъ матеріальнымъ содержаніемъ ея, и что сердечныя отношенія между ними наступаютъ только съ появленіемъ дѣтей, а совсѣмъ не съ появленія, такъ называемой, любви, о которой такъ много говорятъ поэты и романисты. Но это мнѣніе было только началомъ тѣхъ сюрпризовъ, которые Писемскій готовилъ своимъ слушателямъ.

«Писемскій, напримѣръ, добродушно признавался имъ, что испытываетъ родъ органическаго отвращенія къ иностранцамъ, котораго побѣдить въ себѣ не можетъ. «Присутствіе иностранца—говорилъ Писемскій—дѣйствуетъ на меня уничтожающимъ образомъ: я лишаюсь спокойствія духа и желанія мыслить и говорить. Пока онъ у меня на глазахъ, я подвергаюсь чему-то вродѣ столбняка и рѣшительно теряю способность понимать его». Конечно во всѣхъ афоризмахъ подобнаго рода многое должно быть отнесено и на обычное преувеличеніе дружескихъ разговоровъ, но все-таки присутствіе истиннаго чувства тутъ несомнѣнно. Кто же не узнаетъ въ такихъ или подобныхъ словахъ Писемскаго дальніе отголоски старой русской культуры, напоминающіе строй мыслей и прежняго боярства, и думныхъ людей Московскаго царства. Вообще, порывшись немного въ наиболѣе рѣзкихъ мнѣніяхъ и идеяхъ Писемскаго, которыя мы обзывали сплошь парадоксами,—всегда открываешь зерна и крохи какой-то давней полу-исчезнувшей культуры, сбереженной еще кое-гдѣ въ отрывкахъ простымъ нашимъ народомъ. Самый юморъ его, насмѣшливый тонъ рѣчи, способность отыскивать быстро яркій эпитетъ для обозначенія существенной, нравственной черты характера человѣка, которая за нимъ останется навсегда, и наконецъ слово, часто окрашенное ироническимъ оттѣнкомъ, сблизило его съ деревней и умственными привычками народа, въ ней живущаго. Отъ нихъ несло особеннымъ ароматическимъ запахомъ развороченной лѣсной чащи, поднятаго на соху чернозема, всѣмъ тѣмъ, что французы называютъ «parfum de terre» (запахомъ земли, почвы). При видѣ Писемскаго въ обществѣ и въ семьѣ, при разговорахъ съ нимъ и даже при чтеніи его произведеній, я думаю, невольно возникала мысль у каждаго, что передъ нимъ стоитъ историческій великорусскій мужикъ, прошедшій черезъ университетъ, усвоившій себѣ общечеловѣческую цивилизацію и сохранившій многое, что отличало его до этого посвященія въ европейскую науку. Можно легко представить себѣ, какой интересъ представлялъ подобный типъ въ Петербургѣ.

«Вообще осторожность, съ какой Писемскій держался въ сторонѣ отъ теоретическихъ и философскихъ разговоровъ, когда они завязывались передъ нимъ, показывала, что отвлеченныя идеи не имѣли въ немъ ни своего ученика, ни своего поклонника. Это подтверждалось и фактически многими проявленіями его анализирующаго ума. Писемскій удерживалъ, напримѣръ, легко замѣтки и мысли, способныя мирно уживаться съ насущнымъ умственнымъ содержаніемъ русскаго человѣка, и тотчасъ забывалъ о тѣхъ изъ нихъ, которыя служили, такъ сказать, свѣточами для общечеловѣческаго развитія. Вообще онъ никогда не могъ усвоить себѣ хорошенько представленія объ этомъ общечеловѣческомъ развитіи—мало понятно, что его мысль безъ указанія на какой-либо народъ, цѣликомъ обнимавшій его въ себѣ, безъ

БИБЛИОТЕКА

примѣси національныхъ пороковъ и особенностей, если такой народъ еще найдется на свѣтѣ! *). Сколько споровъ по одному этому вопросу происходило тогда!—Людей сороковыхъ годовъ, такъ много говорившихъ объ общечеловѣческомъ развитіи, Писемскій весьма уважалъ, какъ двигателей общества, что и заявилъ во многихъ мѣстахъ своихъ сочиненій и даже въ цѣломъ романѣ, но онъ былъ рѣшительнымъ противникомъ ихъ идеализма. Да и какъ бы онъ принялъ ихъ ученіе о единой, вселенской морали, обязательной для всѣхъ народовъ, достигшихъ извѣстной степени цивилизаціи, когда въ противность ихъ убѣжденіямъ онъ любилъ слабости, недостатки, даже дурныя природныя наклонности своего племени, носилъ слѣды ихъ въ самомъ себѣ и, понимая ихъ вполнѣ, нисколько не раскаивался въ нихъ и всего менѣе думалъ объ ихъ исправленіи.

«Прежде всего Писемскій былъ нервнымъ человѣкомъ въ высшей степени и состоялъ подъ деспотическимъ управленіемъ воображенія и фантазіи, которыя могли играть имъ (и играли) по своему произволу. Въ немъ не сказывалось ни малѣйшихъ признаковъ дисциплины надъ собой. Онъ допустилъ развиться въ себѣ одной психической чертѣ до болѣзненности, мы говоримъ о его нервной трусливости передъ внѣшнимъ міромъ. Онъ боялся толпы на улицѣ, недовѣрчиво смотрѣлъ на всякое новое явленіе, вносимое въ жизнь прикладными науками, и, напримѣръ, по открытіи желѣзныхъ дорогъ никогда не ѣздилъ на курьерскихъ поѣздахъ, говоря, что они устроены для бѣшеныхъ людей, не знающихъ, куда дѣвать излишекъ животной своей жизни. Его тревожили извѣстія и событія, возникшія даже на очень дальнихъ пунктахъ отъ мѣста его пребыванія, хотя онъ и не могъ сказать самъ, въ чемъ состоитъ тутъ опасность для него.»

Сверхъ того Анненковъ разсказываетъ, какъ онъ съ непривычки былъ озадаченъ, когда однажды при началѣ знакомства съ Писемскимъ, возвращаясь съ нимъ довольно поздно ночью съ вечера, проведеннаго у друзей, услыхалъ отъ него необычайный вопросъ:

—«Скажите, вамъ никогда не случалось думать, подъѣзжая къ своему дому, что безъ васъ тамъ могло произойти большое несчастіе?»—При этомъ Писемскій прибавилъ довѣрчиво: «мнѣ часто случается стоять у порога моей двери съ замираніемъ сердца: что, если домъ ограбленъ, кто-нибудь умеръ, пожаръ сдѣлался—вѣдь все можетъ случиться!» Причемъ по голосу его слышно было, что онъ говорилъ серьезно.

О мнительности Писемскаго свидѣтельствуютъ и другіе его современники. Такъ, вотъ что между прочимъ сообщаетъ Ив. Ѳ.

*) Мнѣніе это очевидно не было оригинальнымъ мнѣніемъ самого Писемскаго, а было заимствовано имъ отъ московскихъ друзей-почвенниковъ, напр. Ап. Григорьева и пр.

Примѣчаніе автора книги.

Горбуновъ о своемъ совмѣстномъ съ Писемскимъ морскомъ путешествіи изъ Петербурга въ Кронштадтъ лѣтомъ 1855 года, въ то самое время, когда передъ Кронштадтомъ стоялъ непріятельскій флотъ:

«Разъ, въ началѣ іюня (1855 г.), я по обычаю пришелъ къ Алексѣю Ѳеофилактовичу и засталъ его встревоженнымъ.

— Что съ вами? обратился я къ нему.

— Какъ, братецъ, развѣ не знаешь? Посмотри.

И онъ указалъ мнѣ на письмо отъ князя Д. А. Оболенскаго. Изъ него я узналъ, что мы завтра въ два часа должны съ нимъ прибыть на казенный пароходъ, стоящій на Невѣ, который насъ доставитъ на фрегатъ «Рюрикъ», къ вел. кн. Константину Николаевичу.

— Такъ что же? сказалъ я.

— Какъ—что? По морю-то плыть, не по Волгѣ!

— Да далеко ли тутъ?

— У тебя нервовъ нѣтъ! Въ шхерахъ-то тамъ налетишь...

— Да какія тамъ шхеры!..

Цѣлый день онъ волновался, а вечеромъ мы отправились на пароходъ, на которомъ мы должны плыть въ Кронштадтъ, и намъ любезно дозволили войти на него и осмотрѣть. Алексѣй Ѳеофилактовичъ успокоился.

— Это пароходъ серьезный, утѣшалъ онъ себя, хотя пароходъ былъ очень маленькій.

Въ назначенное время мы были на пристани и ровно въ два часа отошли въ Кронштадтъ. Черезъ полчаса Алексѣй Ѳеофилактовичъ освоился съ моремъ, бояться пересталъ, а интересовался только знать—виденъ ли будетъ непріятельскій флотъ.

Вотъ показался Кронштадтъ... Все ближе... ближе... яснѣе... вотъ наши суда.

«Стопъ машина», раздалась команда. Подъ пароходомъ забурлило. Съ фрегата «Рюрикъ» донеслись черезъ рупоръ какія-то слова, отвалилъ катеръ и направился къ нашему пароходу; взявъ насъ, пошелъ обратно къ фрегату На фрегатѣ мы были представлены начальствующимъ лицамъ. Великій князь находился въ каютѣ: у него былъ докладъ.

— Не угодно ли вамъ осмотрѣть нашъ фрегатъ, обратился командиръ, капитанъ Баженовъ.

Писемскій молча повиновался и пошелъ, я послѣдовалъ за нимъ. Намъ показали орудія, ядра, картечи и наконецъ пригласили на марсъ, откуда простымъ глазомъ видны были мачты непріятельскаго флота, а посредствомъ трубъ мы узнали, что непріятель сушитъ бѣлье. Новость впечатлѣній была очень сильна. Писемскій съ уваженіемъ смотрѣлъ на пушки, но подходить къ нимъ близко не рѣшался и даже сдѣлалъ мнѣ замѣчаніе, когда я внимательно осматривалъ одно орудіе.

— Отойди, замѣтилъ онъ строго.

При входѣ въ каюту, мы были представлены молодому великому князю, который такъ милостиво и любезно встрѣтилъ насъ, что заставилъ позабыть всякое смущеніе.

— Я съ удовольствіемъ читалъ ваши сочиненія, сказалъ онъ Пи-

семскому,—и очень радъ, что услышу ваше чтеніе. Мнѣ говорили, что вы мастерски читаете.—Потомъ обратился ко мнѣ:

— А вы еще юноша...

— Только-что начинаетъ, замѣтилъ Писемскій нѣжнымъ отеческимъ тономъ.

Сѣли на палубѣ за длинный столъ, подали чай, началось чтеніе. Писемскій сначала зачиталъ робко, вяло, но скоро онъ овладѣлъ собой, и полились изъ устъ его рѣчи, сладчайшія меда. Его высочество неоднократно останавливалъ чтеніе и выражалъ автору свое удовольствіе. Разсказъ былъ уже близокъ къ концу, вдругъ... глухой пушечный выстрѣлъ! Писемскій вздрогнулъ и поблѣднѣлъ; другой... третій... четвертый...

— Начали?! произнесъ онъ простодушно, робко окинувъ всѣхъ глазами. Ему представилась бомбардировка.

— Это салютъ; къ непріятелю идетъ пароходъ съ моря, успокоили его.

Пальба продолжалась, и Писемскій не раньше ея окончанія приступилъ къ чтенію, но началъ читать двумя тонами ниже—такъ его поразила эта неожиданность. Послѣ чтенія я разсказалъ весь бывшій тогда у меня репертуаръ. Обласканные вниманіемъ великаго князя, въ 11 часовъ вечера мы поплыли тѣмъ же порядкомъ обратно. На пути насъ встрѣтилъ туманъ, и мы ощупью шли до Петербурга. Алексѣй Ѳеофилактовичъ всѣхъ истерзалъ. Ему представлялись подводные камни, мели, а въ устьѣ Невы померещились мины.

— Туманъ, братецъ, говорилъ онъ мнѣ, — наткнешься и полетишь.

Однако Богъ насъ помиловалъ: мы пришли благополучно.»

Въ свою очередь нѣкто г. Н-въ свидѣтельствуетъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Писемскомъ, помѣщенныхъ въ «Странѣ» 1881 г., что вдругъ ему стало представляться, что тѣ лица, отъ которыхъ ему приходится брать деньги, будутъ непремѣнно давать ему фальшивыя бумажки, и мысль эта производила въ немъ сильное безпокойство, вслѣдствіе чего онъ зачастую отправлялся въ казначейство съ полученными деньгами и просилъ осмотрѣть ихъ—не фальшивыя-ли онѣ.

На сколько мнительность Писемскаго рѣзко отпечатлѣвалась на самой его физіономіи, мы можемъ судить по нижеслѣдующему письму его, писанному въ 1880 году фотографу Шапиро, по поводу изданной послѣднимъ портретной галлереи русскихъ писателей, въ которой есть и портретъ Писемскаго:

«Мой портретъ носитъ тѣ же недостатки, которые оказываются у меня во всѣхъ моихъ фотографическихъ портретахъ и которые конечно зависятъ отъ моего неумѣнья сидѣть. У меня на всѣхъ *фотографіяхъ выходятъ* какіе-то вылупленные, испуганные и какъ-*бы даже какіе-то сумасшедшіе* глаза, можетъ быть потому, что въ

самомъ дѣлѣ, когда меня сажаютъ передъ камеръ-обскурное стекло, то я чувствую, если не страхъ, то сильное безпокойство».

Съ пріѣздомъ въ Петербургъ, въ 1853 году, жизнь Писемскаго естественно приняла совсѣмъ иной характеръ, чѣмъ въ провинціи. «До первыхъ годовъ шестого десятилѣтія, по свидѣтельству г. Боборыкина, втеченіи пяти-шести лѣтъ Писемскій пользовался самой большой популярностью. Онъ сдѣлался достояніемъ Петербурга, жилъ бойко, редакторы журналовъ за нимъ ухаживали, его видали часто и въ свѣтскихъ салонахъ, знали, какъ чтеца и даже какъ актера-любителя».

Но та затаенная цѣль, ради которой переселился Писемскій въ Петербургъ—именно обезпечить себя и создать прочное положеніе, оказывалась недостижимой, и Писемскому пришлось довольствоваться весьма малымъ, едва сводя концы съ концами. «Тогдашняя жизнь Писемскаго, по свидѣтельству Анненкова, въ Петербургѣ близко подходила къ жизни литературнаго пролетарія, который принужденъ безпрестанно считаться со своими средствами. Домъ его содержался въ большомъ порядкѣ, благодаря хозяйкѣ; но выдающаяся простота его обстановки показывала, что экономія была тутъ не дѣломъ вкуса, а необходимости. Писемскій переносилъ стѣсненія далеко не спокойно; онъ досадовалъ на свою бѣдность и искалъ средствъ выйти изъ нея, съ чѣмъ собственно и явился въ Петербургъ. На первыхъ порахъ онъ даже опредѣлился на службу въ одинъ изъ петербургскихъ департаментовъ (въ Удѣлъ кажется), и любопытно, что позднѣе, когда покинулъ его (а случилось это очень скоро), Писемскій указывалъ на одно чиновное лицо, покровительствовавшее ему, со словами: «никогда не прощу этому человѣку того, что я старался понравиться ему и выказать себя умницей».

Тяжелое матеріальное положеніе зависило между прочимъ и отъ того, что въ литературной дѣятельности Писемскаго въ это время нашла полоса малой производительности. Такъ, впродолженіи всего 1854 года появились въ печати лишь слѣдующія два его произведенія: «Фанфаронъ»—въ «Современникѣ» и «Ветеранъ и Новобранецъ»—въ «Отечественныхъ Запискахъ». Въ 1855-мъ-же году были напечатаны (кромѣ вышеозначенной критической статьи въ «Отеч. Зап.») въ свою очередь лишь два его произведенія: «Плотничья артель» и «Виновата-ли она?». Изъ всѣхъ этихъ произведеній одна «Плотничья артель» отличалась

яркимъ талантомъ въ мастерскомъ изображеніи народнаго быта. Прочія-же произведенія ничего не прибавили къ славѣ Писемскаго; «Ветеранъ-же и Новобранецъ» —драматическій случай въ одномъ дѣйствіи—былъ и совсѣмъ плохъ. Заплативши дань патріотическому настроенію общества, возбужденному ужасами севастопольской войны, Писемскій вмѣстѣ съ тѣмъ обнаружилъ всю свою неспособность къ драматическому одушевленію и потрясанію нервовъ чувствительными эффектами.

Зарабатывая такимъ образомъ весьма мало литературнымъ трудомъ и получая при этомъ скудную плату за свои произведенія при существовавшихъ въ то время низкихъ цѣнахъ за литературный трудъ, Писемскій, по словамъ Анненкова, выражалъ громко свое негодованіе на обстоятельства, которыя дѣлаютъ настоящаго производителя цѣнностей подчиненнымъ лицомъ собирателя ихъ и торговца ими. Не стѣсняясь, онъ въ глаза говорилъ издателямъ журналовъ и сборниковъ, что ихъ благосостояніе зиждется на эксплоатаціи и бѣдности ихъ сотрудниковъ и вкладчиковъ.

«Никто, разсказываетъ Анненковъ, не сердился на него за эти слова, во-первыхъ потому, что ихъ произносилъ весьма нужный человѣкъ, и во-вторыхъ потому, что въ сущности это были безобидныя слова, неспособныя измѣнить обычаевъ литературнаго рынка. Но и для Писемскаго наступилъ день, когда онъ почувствовалъ, что жизненная его работа не пропала задаромъ. Въ 1861 г. одинъ изъ предпринимателей въ Петербургѣ (Стелловскій) купилъ у него право на изданіе всѣхъ его дотолѣ появившихся сочиненій за 8 тысячъ рублей,—сумму, не маловажную по тому времени. Съ этимъ обстоятельствомъ, давшимъ Писемскому возможность почувствовать себя самостоятельнымъ писателемъ, имѣющимъ свою цѣну на литературной биржѣ, связывается еще довольно характерный анекдотъ, разсказанный самимъ героемъ его. Послѣ долгихъ и серьезныхъ преній съ своимъ издателемъ, согласившись на его условія и получивъ крупный задатокъ, Писемскій вздумалъ тотчасъ-же и попробовать себя въ роли капиталиста. Онъ отправился въ одно изъ пышныхъ публичныхъ заведеній столицы, гдѣ богатые люди мотаютъ свою жизнь и состояніе и мимо котораго онъ проходилъ, съ любопытствомъ посматривая на его двери. Теперь онъ шумно раскрылъ ихъ и, какъ власть имущій, гордо вступилъ въ недоступные прежде чертоги, *но, встрѣтивъ* тамъ нечеловѣческое подобострастіе и звѣриную *алчность къ деньгамъ*, тотчасъ-же очнулся. Готовность слу-

жить всѣмъ его капризамъ отрезвила его лучше всякой проповѣди и вмѣсто поощренія къ издержкамъ погнала его вонъ, къ себѣ домой... Анекдотъ хорошо рисуетъ соединеніе сильнаго практическаго смысла съ дѣтской наивностью и фантастическими порывами, которые составляли сущность характера этого человѣка».

Въ 1856-мъ году, какъ извѣстно, морское министерство обратилось къ нѣсколькимъ пользовавшимся извѣстностью литераторамъ съ предложеніемъ отправиться на казенный счетъ въ различныя россійскія побережья съ цѣлью изслѣдовать бытъ приморскихъ краевъ въ этнографическомъ и торговомъ отношеніяхъ. Въ числѣ такихъ избранниковъ былъ и Писемскій, посланный съ этой цѣлью морскимъ министерствомъ въ Астрахань и на побережья Каспійскаго моря. Но изъ этой поѣздки Писемскій вынесъ очень мало, какъ для министерства, такъ и для самого себя, причиною чего была конечно крайне недостаточная научная подготовка для дѣла, требовавшаго не одного беллетристическаго таланта, но и спеціальныхъ свѣдѣній. По крайней мѣрѣ единственнымъ результатомъ поѣздки Писемскаго были два небольшіе путевые очерка въ «Морскомъ Сборникѣ», непроходимо скучные и наполненные не столько личными наблюденіями, сколько длиннѣйшими выписками изъ разныхъ сочиненій, касающихся того края, въ который онъ ѣздилъ. Такъ какъ поѣздка эта отняла у Писемскаго много времени, то впродолженіи 1857 года появился лишь небольшой разсказъ его въ «Библіотекѣ для Чтенія» «*Старая барыня*». Впрочемъ во все это время, почти съ самаго пріѣзда въ Петербургъ, Писемскій былъ между прочимъ занятъ писаніемъ большого романа, представлявшаго chef d'oeuvre его литературной дѣятельности, «Тысяча Душъ». Въ слѣдующемъ-же 1858 г. Писемскій оказался вдругъ во главѣ толстаго журнала, и конечно не что иное, какъ все тѣ же скудость средствъ и жажда обезпеченія заставили его взяться за дѣло, совершенно не подходящее ни къ его умственнымъ средствамъ, ни къ темпераменту.

Мы уже видѣли, что, пріѣхавши въ Петербургъ, Писемскій прежде всего сошелся съ редакціей «Современника». Но редакція эта со своими опредѣленными тенденціями оставалась всегда чужда Писемскому при его безпринципномъ скептицизмѣ и міросозерцаніи, остававшемся на степени дѣтскихъ вѣрованій и предразсудковъ. По всей вѣроятности и главные представители редакціи «Современника» скоро его разглядѣли и, цѣня крупный талантъ,

съ радостью готовые помѣстить на своихъ страницахъ каждое его талантливое произведеніе, въ то же время не сближались съ нимъ, какъ съ человѣкомъ. Единственный сотрудникъ «Современника», съ которымъ наиболѣе сошелся Писемскій, былъ извѣстный критикъ того времени А. В. Дружининъ. По своему эклектизму, чопорному англоманству и приверженности къ чистому искусству, доходившей даже до отрицанія Бѣлинскаго, Дружининъ менѣе всего подходилъ къ «Современнику» и терпѣлся въ немъ лишь на безрыбьѣ. Писемскій-же очевидно потому именно и сблизился съ Дружининымъ, что оба были по плечу другъ другу отсутствіемъ строго опредѣленныхъ и страстно проводимыхъ принциповъ и тенденцій. Сближало Писемскаго съ Дружининымъ также и то обстоятельство, что послѣдній по своей эклектической наклонности воздавать всему свое должное далеко не питалъ той нетерпимой партійной вражды къ московскимъ друзьямъ Писемскаго, почвенникамъ, группировавшимся вокругъ «Москвитянина», какой были преисполнены прочіе сотрудники «Современника», готовые относиться отрицательно даже и къ такому талантливому представителю московскаго кружка, какъ Островскій. Дружининъ завязалъ даже отъ своего имени, и не спросясь редакціи, на страницахъ «Современника» въ своихъ «Письмахъ иногороднаго подписчика» дружескія сношенія съ почвенниками, за что́ и получилъ симпатіи ихъ и прозвище честнаго рыцаря.

Когда-же во главѣ редакціи «Современника» стали новыя, юныя силы, и журналъ послѣ крымской войны все опредѣленнѣе и рѣзче началъ высказывать свои тенденціи, дальнѣйшее участіе Дружинина въ «Современникѣ» стало немыслимымъ, и онъ перешелъ въ «Библіотеку для Чтенія», гдѣ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ и редакторомъ, куда перенесъ и свои «Письма иногороднаго подписчика». Вмѣстѣ съ нимъ всталъ во враждебныя отношенія съ «Современникомъ» и Писемскій. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что свой большой романъ «Тысяча Душъ» онъ запродалъ «Отечественнымъ Запискамъ», гдѣ онъ и былъ напечатанъ втеченіи 1858 года. Въ «Современникѣ»-же это самое крупное и лучшее до того времени произведеніе Писемскаго не удостоилось мало мальски обстоятельнаго отзыва, и лишь Добролюбовъ въ своей статьѣ о «*Наканунѣ*» Тургенева небрежно замѣтилъ вскользь, что о новомъ романѣ Писемскаго онъ вовсе не говорилъ, потому *что, по его мнѣнію, «вся* общественная сторона этого романа на*сильно пригнана къ* заранѣе сочиненной идеѣ. Стало быть,

тутъ не о чемъ толковать, кромѣ того, въ какой степени ловко составилъ авторъ свое сочиненіе. Положиться на правду и живую дѣйствительность фактовъ, изложенныхъ авторомъ, невозможно, потому что отношеніе его къ этимъ фактамъ не просто и не правдиво».

Вставши во главѣ «Библіотеки для Чтенія», Дружининъ не замедлилъ пригласить въ соредакторы Писемскаго, съ одной стороны потому, что злѣйшая чахотка, подтачивая его силы, не позволяла ему единолично вести журналъ, а съ другой стороны редакція «Библіотеки для Чтенія»,—журнала, совершенно утратившаго въ глазахъ публики всякое значеніе и находившагося въ крайнемъ упадкѣ, пыталась поднять журналъ и привлечь къ нему вниманіе, поставивъ во главѣ его столь почтенное имя, какъ Писемскаго.— Такимъ образомъ съ 1858 года Писемскій всталъ во главѣ «Библіотеки для Чтенія», и редакторство его продолжалось четыре года до 1862-го. Ниже мы разскажемъ печальный финалъ этого рода дѣятельности Писемскаго. Теперь-же приступимъ къ характеристикѣ романа его «Тысяча Душъ».

Представляя собою лучшее произведеніе изъ всего написаннаго Писемскимъ впродолженіи всей его литературной дѣятельности, романъ «Тысяча Душъ» служитъ въ то же время яркимъ выраженіемъ всѣхъ достоинствъ и недостатковъ творчества Писемскаго. Во всѣхъ предыдущихъ своихъ произведеніяхъ Писемскій имѣлъ дѣло преимущественно съ частной жизнью провинціальнаго общества и не шелъ далѣе изображенія различнаго рода семейныхъ дрязгъ, вѣроломныхъ любовныхъ измѣнъ, своекорыстныхъ разсчетовъ, уѣздныхъ сплетень и т. п. Здѣсь-же раскрывается передъ вами широкая картина общественной жизни провинціи, рисующейся передъ вами въ самыхъ мрачныхъ краскахъ и во всемъ томъ возмутительномъ безобразіи, въ какомъ находилась эта жизнь въ то время, расшатанная во всѣхъ своихъ основахъ. Исторія вице губернаторства и губернаторства главнаго героя романа Калиновича со всѣми ея подробностями и аксессуарами ничѣмъ не уступаетъ «Губернскимъ Очеркамъ» Щедрина и имѣетъ совершенно равносильное съ ними гражданское значеніе.— Этой картиной Писемскій сторицей заплатилъ дань своему вѣку, выложивъ въ своемъ романѣ весь тотъ горькій опытъ, какой вынесъ онъ изъ своей многолѣтней службы въ провинціи.

Но одной исторіей служебной дѣятельности Калиновича не исчерпывается романъ Писемскаго. Если-же мы возьмемъ его во всемъ

его цѣломъ, то, напротивъ того, онъ поразитъ насъ тѣмъ, что, платя этимъ романомъ дань своему вѣку, въ то же время ни въ одномъ изъ предыдущихъ произведеній Писемскій не расходился такъ со своимъ вѣкомъ, какъ именно въ этомъ самомъ романѣ. Время, въ которое появился романъ, было эпохой всеобщаго оживленія, розовыхъ надеждъ, горячаго энтузіазма, который охватилъ всѣ слои общества. Всѣ жаждали обновленія, широкихъ и рѣшительныхъ реформъ и готовы были принести всѣ свои силы и самую жизнь на алтарь отечества. И вдругъ въ такое время Писемскій явился въ своемъ романѣ въ большей степени пессимистомъ, чѣмъ когда-либо прежде. Естественно, что если въ предыдущихъ произведеніяхъ пессимизмъ Писемскаго никому не казался страннымъ и неумѣстнымъ, такъ какъ вполнѣ гармонировалъ съ мрачнымъ колоритомъ жизни, то теперь онъ шелъ совсѣмъ въ разрѣзъ съ настроеніемъ общества. Судите сами, какимъ диссонансомъ звучали нижеслѣдующія строки романа, въ которыхъ Писемскій съ полною, небывалою еще до того времени откровенностью высказалъ свою мрачную философію жизни. Какъ разъ въ такое время, когда возникали новые альтруистическіе идеалы и появлялись на сцену суровые ригористы, видѣвшіе преступленіе въ малѣйшихъ заботахъ о своей личности, Писемскій писалъ:

«Надобно сказать, что комфортъ въ умѣ моего героя всегда имѣлъ огромное значеніе. И для кого же впрочемъ изъ солидныхъ, благоразумныхъ молодыхъ людей нашего времени не имѣетъ онъ этого значенія? Авторъ дошелъ до твердаго убѣжденія, что для насъ, дѣтей нынѣшняго вѣка, слава... любовь... міровыя идеи... безсмертіе— ничто предъ комфортомъ. Все это въ душахъ нашихъ случайное; одинъ только онъ стоитъ впереди нашего пути, съ своей неизмѣримо притягательной силой. Къ нему-то мы направляемъ всѣ наши усилія. Онъ одинъ нашъ идолъ, и въ жертву ему приносится все дорогое, хотя бы для этого пришлось оторвать самую близкую часть нашего сердца, разорвать главную его артерію и кровью изойти, но только близенько, на подножіи нашего золотого тельца! Для комфорта проводится трудовая, до чахотки, жизнь!.. для комфорта десятки лѣтъ изгибаются, кланяются, кривятъ совѣстью!.. для комфорта кидаютъ семейство, родину, ѣдутъ кругомъ свѣта, тонутъ, умираютъ съ голода въ степяхъ!.. для комфорта чистымъ и нечистымъ путемъ ищутъ наслѣдства; для комфорта берутъ взятки и совершаютъ наконецъ преступленія!»...

Можно подумать съ перваго взгляда, что эта тирада исполнена ироніи и сарказма, но мы имѣемъ полное основаніе предполагать, *что* авторъ высказалъ здѣсь свое «твердое убѣжденіе», какъ онъ *самъ выражается*, безъ всякой задней мысли. Надо замѣтить, что *при всей той объективности*, къ какой стремился Писемскій во

всѣхъ своихъ произведеніяхъ, это былъ писатель, обладавшій значительной дозой субъективности. Субъективность его конечно не простиралась до такой степени, какъ напримѣръ у Байрона или у Лермонтова, которые постоянно имѣли дѣло со своей личностью. Тѣмъ не менѣе въ каждомъ произведеніи Писемскаго вы найдете отраженіе того, что̀ переживалъ самъ авторъ во время созданія этого произведенія. Мы видимъ, что нѣкоторые его романы и повѣсти заключаютъ даже въ себѣ несомнѣнный автобіографическій матеріалъ, на что̀ указываетъ въ своей автобіографіи самъ Писемскій. Но и самыя повидимому объективнѣйшія произведенія, какъ напримѣръ романъ «Тысяча Душъ», не чужды того-же самаго. Такъ, намъ извѣстно, что подобно Калиновичу, не довольствуясь первыми своими литературными успѣхами, Писемскій пріѣхалъ въ Петербургъ не для чего иного, какъ именно ради пріобрѣтенія того самаго комфорта, силу котораго онъ называетъ «неизмѣримо притягательной». По пріѣздѣ въ Петербургъ Калиновичемъ овладѣваетъ «тоска и какой-то безотчетный страхъ»,—чувства, какъ мы видѣли, столь свойственныя ипохондрическому характеру Писемскаго. Далѣе, совершенно подобно автору Калиновичъ колеблется между службой и литературой, причемъ Писемскій не преминулъ въ своемъ романѣ изобразить то глубокое разочарованіе, какое вынесъ онъ изъ ближайшаго знакомства съ организаціей литературнаго труда въ Петербургѣ. Мы видѣли уже изъ воспоминаній Анненкова, какъ сѣтовалъ и негодовалъ Писемскій на эксплоатацію литературныхъ тружениковъ издателями періодическихъ органовъ. Совершенно согласно съ такими чувствами Писемскій изображаетъ редактора толстаго журнала, въ которомъ была напечатана первая повѣсть Калиновича, въ видѣ «растолстѣвшаго сангвиника съ закинутою назадъ головою, совершенно безъ шеи, и только маленькіе, безпрестанно-бѣгавшіе изъ-подъ золотыхъ очковъ глаза говорили о его *коммерческихъ способностяхъ*». И между тѣмъ какъ этотъ утопающій въ роскоши сибаритъ кидаетъ десятки тысячъ на француженокъ и въ то же время общитываетъ Калиновича на 90 рублей при выдачѣ ему гонорара, настоящимъ редакторомъ, на плечахъ котораго лежитъ весь журналъ, оказывается нѣкто Зыковъ, литературный труженикъ вродѣ Бѣлинскаго. Едва сводя концы съ концами, онъ живетъ въ пятомъ этажѣ и, сгорая отъ непосильной работы, находится въ послѣднемъ градусѣ чахотки. Несмотря на всю свою страстную любовь къ литературѣ, онъ въ то же время не только не поощряетъ Калиновича

отдаться ей, а напротивъ того патетически восклицаетъ: «чортъ съ ней, съ этой литературой! Она только губитъ людей. Вотъ оно, чего я достигъ съ ней: пусто тутъ, каверны.—Вотъ у меня теперь сынишка, и предсмертное мое заклятье его матери: пусть онъ будетъ солдатомъ, барабанщикомъ, цѣловальникомъ, квартальнымъ, но не писателемъ, не писателемъ!.. »

Разница между Писемскимъ и его героемъ заключалась лишь въ томъ, что Писемскій успѣлъ разочароваться въ служебной дѣятельности раньше еще, чѣмъ въ литературной, и для него не было уже возврата, тогда какъ Калиновича ждало еще разочарованіе на административномъ поприщѣ впереди.

Въ этомъ отношеніи Калиновичъ представляется какъ нельзя болѣе современнымъ типомъ во время появленія романа, т. е. въ концѣ пятидесятыхъ годовъ. Героями дня тогда были именно администраторы громовержцы, являвшіеся въ провинцію съ печатью высшаго образованія на челѣ и съ неукротимымъ стремленіемъ карать зло и истреблять плевелы въ видѣ мелкихъ взяточниковъ и всякаго рода попустителей. Такого рода герои прославлялись въ то время и на страницахъ журналовъ, и на сценахъ театровъ, рисуясь въ безусловно идеальномъ блескѣ, какъ такой безукоризненный образецъ гражданской доблести, выше котораго трудно себѣ что-либо и представить.

Какъ истый скептикъ и пессимистъ, Писемскій облилъ ледяной водой это поклоненіе величественнымъ карателямъ мелкихъ воришекъ. Многіе были недовольны типомъ Калиновича въ томъ отношеніи, что онъ представляетъ въ себѣ какую-то странную двойственность: съ одной стороны передъ вами черствый и бездушный карьеристъ, которому ничего не стоитъ обольстить дѣвушку и, сдѣлавшись ея женихомъ, бросить ее и жениться на кривобокой наслѣдницѣ тысячи душъ исключительно ради устройства комфортабельной жизни и карьеры, а затѣмъ безъ всякой жалости посадить въ тюрьму того самаго князя, который помогъ ему жениться и выдвинуться, и избить свою супругу, которой въ свою очередь онъ былъ обязанъ всѣмъ. И тѣмъ не менѣе тотъ-же самый Калиновичъ производитъ на читателей впечатлѣніе человѣка во всякомъ случаѣ выше всѣхъ головою, и они до самой послѣдней страницы чувствуютъ къ нему не отвращеніе, какое должны внушать его поступки, а напротивъ того, если не сочувствіе и участіе, то жалость.

Но въ томъ именно и заключается глубокая иронія романа,

что Писемскій вывелъ въ лицѣ Калиновича вовсе не одного изъ тѣхъ мелкихъ и заурядныхъ безсердечныхъ карьеристовъ, какіе кишатъ въ жизни на каждомъ шагу. Это не Хазаровъ и не Бахтіаровъ, у которыхъ въ сердцѣ не осталось ни одной искры Божіей. Калиновичъ и на самомъ дѣлѣ выше всѣхъ окружающихъ, человѣкъ не только высшаго образованія, но и съ душою. Не дешево обходилась ему каждая сдѣлка съ совѣстью, причиняя ему такія мучительныя страданія, какъ-будто отъ него отрывались куски живого мяса. Авторъ безъ сомнѣнія хотѣлъ показать своимъ Калиновичемъ, что нѣтъ никакой возможности подняться на административныя высоты бѣднякамъ вродѣ самого Писемскаго, какогобы они ни были ума, безъ тяжкихъ и постыдныхъ пожертвованій лучшими человѣческими инстинктами. Но и поднявшись на самыя завидныя высоты, герои, вродѣ Калиновича, далеко не успокаиваютъ мученія своей совѣсти и не вознаграждаютъ себя за всѣ пожертвованія сознаніемъ полезности своей дѣятельности. Оказывается, что для того, чтобы удержаться на высотѣ, необходимо продолжать вступать въ еще бо̀льшіе компромиссы съ средою и въ концѣ концовъ свести свою дѣятельность исключительно къ снисканію благъ земныхъ, смотря сквозь пальцы на всѣ совершающіяся вокругъ мерзости. Калиновичъ же вообразилъ, что достигнутая имъ власть губернатора дастъ ему возможность на полной свободѣ осуществлять свои гражданскіе идеалы, хотя бы лишь отрицательно, явившись Юпитеромъ-громовержцемъ для всей той неправды, какою были проникнуты общественныя дѣла и отношенія ввѣреннаго ему края. Но своей террористической дѣятельностью онъ возбудилъ лишь всеобщій ужасъ, озлобленіе, и его поспѣшили убрать, какъ человѣка безпокойнаго, который и самъ не пользуется благами жизни, и другимъ жить мѣшаетъ. Трудно и представить себѣ болѣе глубокую и правдивую иронію, которою проникнута вся эта исторія,—иронію не только надъ честолюбцами вродѣ Калиновича, но и надъ всѣмъ русскимъ обществомъ того времени.

Тотъ же горькій пессимизмъ, какой вы видите въ общественной сторонѣ романа, проникаетъ и всѣ частныя отношенія героевъ. Такъ напримѣръ, казалось бы, какой идеальной личностью должна была бы казаться Настенька съ ея глубокой и неизмѣнной привязанностью къ Калиновичу, несмотря на все возмутительно-безсердечное отношеніе его къ ней. Читатель долженъ былъ бы отдыхать душою на этой единственной свѣтлой личности ро-

мана. Но и ее не преминулъ Писемскій облить ядомъ своего скептицизма. Во-первыхъ, Писемскій остался по отношенію къ своей героинѣ вѣренъ своему взгляду на женщинъ, что самыя лучшія изъ нихъ ни на что болѣе не способны, какъ только питать рабскую кошачью привязанность къ избраннику своего сердца и безпрекословно довольствоваться ролью одной изъ прихотей комфорта въ жизни мужчины. И дѣйствительно, Настенька ни къ чему болѣе не стремится, какъ лишь къ исполненію столь скромнаго женскаго предназначенія. Но и на это скромное предназначеніе Писемскій не замедлилъ сдѣлать плевокъ въ видѣ особеннаго, свойственнаго ему, ироническаго взгляда на любовь вообще, какъ мужскую, такъ и женскую. Сначала такой ироническій взглядъ проводится на мужскую любовь.

Изображая, какъ Калиновичъ на пути въ Петербургъ ухаживалъ за сидѣвшей съ нимъ въ одномъ вагонѣ кокоткой, Писемскій замѣчаетъ при этомъ:

«Здѣсь мнѣ опять приходится объяснить истину, совершенно непринимаемую въ романахъ,—истину, что никогда мы, грубая половина рода человѣческаго, не способны такъ измѣнить любимой нами женщинѣ, какъ въ первое время разлуки съ нею, хоть и любишь ее еще съ прежнею страстью. Дѣло тутъ въ томъ, что воспоминанія любви еще слишкомъ живы, чувства жаждутъ привычныхъ наслажденій, а между тѣмъ около насъ пусто и нѣтъ милаго существа, замѣнить которое мы готовы, обманывая себя, первымъ хорошенькимъ личикомъ».

Но далѣе затѣмъ оказывается, что не только грубая, но и нѣжная половина человѣческаго рода обладаетъ тѣмъ же свойствомъ. По крайней мѣрѣ тотчасъ же послѣ измѣны Калиновича брошенная имъ Настенька была готова отдаться принявшему въ ней участіе Бѣлавину, и вотъ что говорила она въ свое оправданіе:

«— Послушай: если когда-нибудь тебя женщина увѣряла или станетъ увѣрять, что вотъ она любила тамъ мужа или любовника, что ли... онъ потомъ умеръ, или измѣнилъ ей, а она все-таки продолжала любить его до гроба, повѣрь ты мнѣ, что она или ничего еще въ жизни не испытала, или лжетъ. Всѣ мы имѣемъ не ту способность, чтобы вотъ любить одно существо, а просто способны любить или нѣтъ. У одной это чувство больше развито, у другой меньше, а у третьей и ничего нѣтъ... Какъ я глубоко и сильно была привязана къ тебѣ, въ этомъ я кидаю перчатку всѣмъ въ мірѣ женщинамъ! Но въ то же время, когда была брошена тобой и когда около меня *остался другой человѣкъ*, который, казалось, принимаетъ во мнѣ такое *участіе, что дай Богъ* отцу съ матерью... я видѣла это и невольно *привязалась къ нему*».

Въ концѣ романа Писемскій сочеталъ, какъ извѣстно, Калиновича и Настеньку законнымъ бракомъ, но его въ то же время взяло безпокойство, какъ бы читатели не подумали, что онъ по примѣру прочихъ романистовъ соединилъ два неизмѣнно и нѣжно любящія сердца ради лишь вожделѣнной развязки, и онъ спѣшитъ оговориться:

«Черезъ полгода послѣ смерти жены Калиновича, Полины, Калиновичъ женился на Настенькѣ. Фактъ этотъ, казалось бы, развязываетъ мнѣ, какъ романисту, всѣ нити, но въ то же время я никакъ не могу, подобно старымъ повѣствователямъ, сказать, что главные герои мои послѣ долговременныхъ треволненій пристали наконецъ въ мирную пристань тихаго семейнаго счастья. Далеко это было не такъ на самомъ дѣлѣ! Сломанный нравственно, больной физически, Калиновичъ рѣшился на новый бракъ единственно потому только, что ни на что болѣе не надѣялся и ничего уже болѣе не ожидалъ отъ жизни, да и Настенька, актриса въ душѣ, оставила театръ и сдѣлалась дѣйствительной статской совѣтницей скорѣе изъ сознанія какого-то долга, что она одна осталась въ мірѣ для этого человѣка и обязана хоть сколько-нибудь поддержать и усладить жизнь этой разбитой, но все-таки любезной для нея силы»..

V.

Разсказы изъ народнаго быта и комедія «Горькая Судьбина».—Причины непониманія Писемскимъ движенія 60-хъ годовъ и реакціонное направленіе его.—Полемика съ «Искрою».—Романъ «Взбаломученное Море».

Вслѣдъ за романомъ «Тысяча Душъ» послѣдовало другое произведеніе, которое ставится обыкновенно во главѣ всего написаннаго Писемскимъ,—знаменитая комедія его «Горькая Судьбина». Но прежде чѣмъ приступимъ къ характеристикѣ этой комедіи, считаемъ необходимымъ сказать нѣсколько словъ вообще о всѣхъ произведеніяхъ Писемскаго изъ народнаго быта, каковы: «Плотничья артель», «Питерщикъ», «Лѣшій» и «Батька».

Произведеніями этими Писемскій въ свою очередь заплатилъ дань своему вѣку. Рѣдкій писатель того времени обходился безъ разсказовъ и очерковъ, если не обширныхъ романовъ, изъ быта крестьянъ, мѣщанъ или купцовъ. Но Писемскій и въ этихъ разсказахъ своихъ съумѣлъ остаться вполнѣ самимъ собою, тѣмъ-же

скептикомъ - пессимистомъ, индифферентнымъ къ какимъ бы то ни было тенденціямъ, господствовавшимъ въ его время. Онъ былъ совершенно чуждъ, какъ идеализаціи народа, такъ и сентиментальныхъ сожалѣній о его печальной участи, которыя составляли въ литературѣ того времени заурядное явленіе. Онъ и на освобожденіе крестьянъ глядѣлъ скептическими глазами, утверждая, по словамъ Анненкова, публично въ 1861 г., что «новое, выработанное положеніе о крестьянахъ предстанетъ передъ нами не въ видѣ нравственнаго дѣла по преимуществу, а въ видѣ фискальнаго рѣшенія первой инстанціи суда по давней имущественной тяжбѣ ихъ съ помѣщиками. Тягаться можно будетъ и послѣ того, въ другихъ инстанціяхъ.»

«Писемскому казалось,—говоритъ далѣе Анненковъ,—что безъ сильныхъ «нравственныхъ авторитетовъ» народъ не разстанется ни съ однимъ изъ тѣхъ свойствъ, которыя получилъ въ періодъ рабства и чиновничьихъ притѣсненій, а только приноровится къ новымъ учрежденіямъ и въ ихъ рамкахъ разовьетъ еще съ бо̀льшей энергіей дурное нравственное наслѣдство, полученное имъ отъ прошлаго. Онъ не придавалъ особеннаго значенія и будущему развитію благосостоянія освобожденныхъ, на которое многіе разсчитывали, какъ на сильный нравственный двигатель: жизненный опытъ привелъ его къ заключенію, что богатство и нажива могутъ быть родоначальниками еще бо̀льшихъ пороковъ и безобразій, чѣмъ сама скудость, которая считается ихъ матерью».

Вотъ какой общій взглядъ на народъ передъ освобожденіемъ проводитъ Писемскій въ своемъ романѣ «Взбаломученное Море»:

«Простой народъ сталъ приходить наконецъ въ отупѣніе: съ него брали и въ казну, и барину, и чиновникамъ, да его же чуть не ежегодно въ солдаты отдавали. Какъ бы въ отместку за все это, онъ неистово пилъ отравленную откупную водку и, приходя отъ того въ скотское бѣшенство, дрался, какъ звѣрь, или со своимъ братомъ, или съ женой, и безпрестанно попадалъ за то на каторгу».

Изъ этого всего вы можете судить, какъ далекъ былъ Писемскій отъ малѣйшей идеализаціи народа, отъ представленія мужиковъ идеальными и невинными страдальцами. И дѣйствительно, въ его разсказахъ, обнаруживающихъ большое знаніе народной жизни и мужицкаго говора,—вы не встрѣтите и тѣни какихъ-либо протестовъ противъ угнетеннаго положенія крестьянъ.—Содержаніе этихъ разсказовъ заключается въ различныхъ драматическихъ *эпизодахъ изъ жизни* крестьянъ, причемъ Писемскій своимъ безстрастно-*объективнымъ* протоколизмомъ очень напоминаетъ Золя

въ его романѣ «La terre». Крестьяне Писемскаго, подобно крестьянамъ романа Золя, въ свою очередь являются дикарями, живущими непосредственной жизнью животныхъ влеченій, причемъ, какъ у всѣхъ дикарей, самые высокія душевныя движенія соединяются въ нихъ со скотскимъ звѣрствомъ и часто одно незамѣтно переходитъ въ другое.

То-же самое видимъ мы и въ «Горькой Судьбинѣ» Писемскаго. Прежде всего изложимъ, по свидѣтельству Анненкова, исторію этой комедіи. Основа ея не была выдумана художникомъ. Писемскій встрѣтился съ изображеннымъ въ ней происшествіемъ въ 1848 г., будучи еще чиновникомъ особыхъ порученій при костромскомъ губернаторѣ. Онъ имѣлъ въ рукахъ подлинное дѣло точно такого-же содержанія, и въ качествѣ слѣдователя, командированнаго губернаторомъ, принималъ участіе въ его разборѣ самъ. Комедія писалась имъ лѣтомъ на дачѣ, близь Петербурга, и случилось, что однажды авторъ ея встрѣтился на прогулкѣ съ актеромъ Мартыновымъ. Онъ зазвалъ его къ себѣ въ домъ и прочелъ ему первыя три дѣйствія ея, тогда написанныя. Знаменитый артистъ пришелъ въ восторгъ отъ нихъ и изумилъ Писемскаго, выразивъ намѣреніе взять роль мужа, когда пьеса поступитъ на сцену. Тогда еще никто не могъ угадать въ Мартыновѣ призванія на драматическія роли, и Писемскій выразилъ свое сомнѣніе; но великій комикъ настоятельно требовалъ предоставленія ему роли Ананія. Кажется, этого не случилось, и Мартынову суждено было показать въ другихъ и менѣе значительныхъ роляхъ присутствіе въ себѣ патетическаго элемента, которымъ обладаетъ всякій истинный комикъ. Въ заключеніе Мартыновъ спросилъ:—«а какъ ты намѣренъ окончить пьесу?» Писемскій отвѣчалъ:—«по моему плану Ананій долженъ сдѣлаться атаманомъ разбойничьей шайки и, явившись въ деревню, убить бурмистра».—«Вотъ, это не хорошо»—возразилъ Мартыновъ,—«ты заставь его лучше вернуться съ повинной головой и всѣхъ простить».—Писемскій былъ пораженъ вѣрностью этой мысли и буквально послѣдовалъ ей. Такъ хорошо угадалъ знаменитый артистъ сущность пьесы, прозрѣлъ законный, необходимый исходъ ея чутьемъ истины, присущимъ всякому истинному таланту.

На первый взглядъ можетъ показаться, что въ комедіи «Горькая Судьбина» народъ въ лицѣ Ананія съ его цѣльной, непосредственной натурой и непоколебимо-твердыми взглядами на жизнь и на людей значительно превознесенъ передъ барами, предста-

вителемъ которыхъ является помѣщикъ Чехловъ, полюбившій жену Ананія, Лизавету. Но эта иллюзія происходитъ лишь оттого, что помѣщикъ выведенъ въ комедіи въ слишкомъ уже безобразномъ видѣ. Писемскій и здѣсь не могъ обойтись безъ своей обычной ироніи. Передъ вами не заурядный патріархальный крѣпостникъ-бабникъ, невозбранно пользующійся деревенскими красотками силою своей помѣщичьей власти. Чехловъ—человѣкъ высшаго образованія, гнушающійся крѣпостнымъ правомъ и отрицающій его. Онъ не насильничаетъ Лизавету, а воображаетъ, что разыгрываетъ съ нею романъ въ духѣ Жоржъ Зандъ, пылая къ ней романтической страстью. Онъ и не замѣчаетъ при этомъ, что при всѣхъ своихъ гуманностяхъ онъ остается все тѣмъ же крѣпостникомъ-насильникомъ, и его «свободная любовь» является «свободной любовью» волка къ овечкѣ. Верхъ-же нравственнаго безобразія раскрывается передъ нами въ концѣ драмы, когда Чехловъ, продолжая донкихотствовать въ духѣ своихъ рыцарскихъ идеаловъ, высказываетъ сожалѣніе, что русскіе нравы и порядки мѣшаютъ ему вызвать Ананія на дуэль. Эта крайняя изломанность и отрѣшенность отъ жизни одного изъ послѣднихъ могиканъ крѣпостного права производитъ и въ настоящее время ошеломляющее впечатлѣніе. Въ эпоху-же появленія «Горькой Судьбины» въ печати и на сценѣ, въ моментъ освобожденія крестьянъ, впечатлѣніе это было еще въ большей степени потрясающее. При видѣ Чехлова глубоко чувствовалось, что часъ крѣпостного права пробилъ, и дальнѣйшее существованіе его дѣйствительно немыслимо.

Понятно, что по сравненію съ такимъ киселеобразнымъ ничтожествомъ, какимъ представляется Чехловъ, Ананій можетъ показаться богатыремъ и въ физическомъ, и въ нравственномъ отношеніяхъ. Но вглядитесь вы въ этого самаго Ананія помимо всякихъ сравненій, и вы увидите, что вся его высокая нравственность—нравственность деревенскаго кулака, готоваго превратиться со временемъ въ самодура въ духѣ Кита Китыча.

Женясь на Лизаветѣ, онъ нарочно беретъ безприданницу, чтобы она ему была по гробъ предана изъ благодарности, а о любви ея къ нему и не допытывается на томъ основаніи, что и «всѣ мужики женятся не по особливому какому расположенію, а все-таки, коли въ церкви Божьей повѣнчаны, значитъ, надо жить по закону». По пріѣздѣ изъ Питера онъ повидимому такъ степенно и резонно *разсказываетъ о всѣхъ* видѣнныхъ имъ столичныхъ диковинкахъ. *Вы видите въ немъ человѣка* бывалаго и словно тронутаго нѣ-

сколько цивилизаціей. А между тѣмъ въ немъ сидитъ звѣрь, и стоило ему услышать о томъ, что жена измѣнила ему и прижила съ бариномъ ребенка, звѣрь этотъ проснулся и, обратившись въ необузданнаго дикаря, Ананій первымъ дѣломъ избилъ жену до полусмерти. Затѣмъ онъ успокоился; съ одной стороны человѣческія чувства, а съ другой практическія соображенія взяли въ немъ перевѣсъ. Онъ сообразилъ, что въ крестьянскомъ быту подъ барской властью такіе случаи нерѣдки и не могутъ служить семейнымъ позоромъ,—и былъ готовъ не только простить жену, но и признать своимъ ребенка ея. «По крайней мѣрѣ, говоритъ онъ, для чужихъ глазъ сдѣлать надо, что ничего какъ-бы этого не было: ребенокъ, значитъ, мой и ты мнѣ пока жена честная».

Когда же Ананій узнаетъ, что жена не поневолѣ сошлась съ бариномъ, а по любви и готова даже бѣжать къ нему отъ мужа, въ немъ опять просыпается звѣрь и дикарь; онъ бросается къ женѣ и убиваетъ ея ребенка въ порывѣ необузданной ярости, а потомъ снова приходитъ въ себя, является на мѣсто преступленія и отдается властямъ.

Изъ этого всего вы можете видѣть, въ какой степени и въ «Горькой Судьбинѣ» Писемскій оставался вѣренъ своему взгляду на простой народъ, какъ на отупѣвшихъ и озвѣрѣвшихъ дикарей, которые, «приходя въ скотское бѣшенство, дрались, какъ звѣри, или со своимъ братомъ, или съ женой и безпрестанно попадали за то на каторгу».

Удостоенная Академіей уваровской преміи и поставленная на сцену Александринскаго театра въ 1863 году, комедія Писемскаго впослѣдствіи сдѣлалась одною изъ тѣхъ классическихъ пьесъ драматическаго репертуара, которыя никогда не сходятъ со сцены, и главныя роли которыхъ доставляютъ первоклассным актерамъ возможность проявить всѣ свои силы и всю высоту своихъ талантовъ.

Конецъ пятидесятыхъ годовъ былъ такимъ образомъ апогеемъ развитія таланта Писемскаго, равно и его литературной славы. Стоя на одномъ ряду съ первоклассными писателями своего времени: Тургеневымъ, Гончаровымъ, Достоевскимъ и пр., будучи редакторомъ толстаго журнала, считаясь въ то время однимъ изъ лучшихъ драматурговъ, онъ срывалъ лавры и въ качествѣ прекраснаго чтеца, блистая на литературныхъ чтеніяхъ и имѣя доступъ въ лучшіе великосвѣтскіе салоны того времени.

Но, вознеся столь высоко, какъ только могъ желать славолюбивый писатель, судьба съ такой же быстротой низвергла его съ этой высоты, устлала дальнѣйшій путь его массой шиповъ и терній и изъ стоявшаго впереди вѣка свѣтила обратила его въ поборника мрака и застоя и, вооруживъ противъ него всю прогрессивную литературу, поставила имя его на одномъ ряду съ самыми позорными именами.

Произошло это вслѣдствіе того, что, привыкши плыть въ неподвижныхъ и сонныхъ водахъ того общественнаго затишья, какое предшествовало крымской войнѣ, Писемскій былъ пловцомъ, совершенно неприготовленнымъ для борьбы съ тѣмъ шумнымъ водоворотомъ, какимъ закружилось все русское общество въ эпоху освобожденія крестьянъ. Если писатели вродѣ Тургенева, философски образованные въ западныхъ университетахъ, не могли вполнѣ ясно и правильно осмыслить весь хаосъ тѣхъ до пестроты разнообразныхъ и противорѣчивыхъ явленій, какими исполнилась русская земля, то какъ было не потеряться въ этомъ хаосѣ Писемскому, учившемуся чему-нибудь и какъ-нибудь и давно забывшему всѣ университетскія вѣянія. Мы уже видѣли, какъ поражали всѣхъ, съ кѣмъ сталкивался Писемскій въ началѣ еще пятидесятыхъ годовъ въ Петербургѣ, его допотопные взгляды, напоминающіе, по словамъ Анненкова, «*строй мыслей прошлаго боярства и дюжихъ людей московскаго царства*». Можно себѣ вообразить, какими дикими должны были представляться эти самые архаическіе взгляды въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, когда все русское общество отъ малаго до стараго прониклось ожесточеннымъ протестомъ именно противъ всего напоминавшаго допетровскій, домостроевскій строй мыслей. Уже потому одному Писемскій долженъ былъ розойтись съ новымъ движеніемъ, что въ то время, какъ всѣ мало-мальски увлеченные въ это движеніе считали себя идеальными людьми въ силу одного исповѣдыванія новыхъ идей, Писемскій по своему неисправимому пессимизму продолжалъ съ обычною ему откровенной рѣзкостью утверждать, что всѣ люди, какихъ-бы они ни были убѣжденій,—въ равной степени подлецы, и что же ему дѣлать, когда онъ ни въ чьей душѣ ничего хорошаго не видитъ. Его не только коробило и возмущало, что массы крупныхъ воровъ и мелкихъ воришекъ, хлыщей, шулеровъ и кокотокъ подѣлались прогрессистами и взапуски пустились либеральничать, но и такія непривычныя ему мелочи, что гимназисты осмѣливались грубить родителямъ и безнаказанно ку-

рить на улицѣ, а мужиковъ начали «выкать». Къ этому присоединились литературныя отношенія. Разойдясь съ редакціей «Современника» и перейдя въ «Библіотеку для Чтенія», этимъ однимъ фактомъ Писемскій сталъ въ оппозицію съ прогрессивнымъ лагеремъ тогдашней литературы. Мы видѣли уже, какъ холодно начали отзываться о немъ въ «Современникѣ». Обновленная «Библіотека для Чтенія» по иниціативѣ Дружинина поставила на своемъ знамени «искусство» и начала ратовать противъ новыхъ отрицателей его. Подъ вліяніемъ своихъ журнальныхъ сочленовъ проникся и Писемскій негодованіемъ противъ мальчишекъ, непочтительно относившихся къ Пушкину и считавшихъ сапоги выше Шекспира. Но на первыхъ порахъ оппозиція эта повидимому имѣла довольно умѣренный характеръ. По крайней мѣрѣ, по свидѣтельству П. Д. Боборыкина, «у себя дома, въ кабинетѣ, въ задушевныхъ разговорахъ, Писемскій высказывался скорѣе въ тонѣ сокрушенія и протеста, чѣмъ въ тонѣ непримиримой запальчивости. По своему, онъ былъ послѣдователенъ. Люди, возвѣщающіе радикальные принципы, должны были въ его глазахъ быть безукоризненными во всѣхъ смыслахъ, а этого далеко не было. Его наблюдательный и сатирическій умъ одинаково разоблачалъ людей противнаго лагеря и своихъ ближайшихъ сверстниковъ. Онъ могъ и про пріятеля, про человѣка симпатичнаго ему по таланту, говорить безъ всякой поблажки его личнымъ слабостямъ. Тогдашній руководитель «Современника», возмущавшій его своими новыми идеями, былъ ему очень мало извѣстенъ, какъ человѣкъ. Но нѣсколько разъ онъ, въ присутствіи П. Д. Боборыкина, разспрашивалъ сотрудника, ходившаго и въ «Современникъ»: «какой это человѣкъ, хорошій-ли, дѣйствительно-ли вѣритъ онъ самъ въ то, что̀ говоритъ?»

Судя по этой выдержкѣ изъ воспоминаній П. Д. Боборыкина, мы видимъ, что протесты Писемскаго ограничивались долгое время интимно-кабинетнымъ характеромъ. Но, обостряясь болѣе и болѣе, они наконецъ прорвались наружу и выплыли на свѣтъ божій въ печатномъ словѣ. Въ это время во всѣхъ журналахъ, по примѣру «Свистка» и «Современника», вошло въ моду помѣщать въ концѣ книжекъ сатирическіе фельетоны, съ одной стороны, ради оживленія журнала, а съ другой—въ полемическихъ цѣляхъ. Завела свой балаганчикъ и «Библіотека для Чтенія». Между прочими фельетонистами выступилъ въ своемъ журналѣ и Писемскій въ концѣ 1861 года, подъ псевдонимомъ Никиты Безрылова, и

первый фельетонъ его, напечатанный въ декабрьской книжкѣ, послужилъ яблокомъ раздора, возбудивши во всей литературѣ порядочный переполохъ.

Въ фельетонѣ этомъ, довольно безсодержательномъ въ цѣломъ, поразили всѣхъ слѣдующія три мѣста:

Такъ, обращаясь по случаю праздниковъ и елокъ къ невинному и юному человѣчеству, Писемскій говоритъ:

«Милыя дѣти!—восклицаю *я*—вы живете въ счастливое для вашего возраста время: слышали ли вы, что въ воскресныхъ школахъ разнымъ замарашкамъ мальчикамъ и дѣвочкамъ, по правиламъ великаго педагога и сердцевѣда Павлова, говорятъ: «вы»?—Что за дѣло, что эти глупыя созданьица вовсе не понимаютъ этой вѣжливости и даже она ихъ больше пугаетъ, и что они гораздо лучше учатся у какого-то крикуна-помѣщика и полковыхъ унтеръ-офицеровъ, чѣмъ у самыхъ современныхъ молодыхъ; всѣ эти маленькія противорѣчія ничего не значатъ; былъ бы соблюденъ законъ высокой гуманности. Собственно о васъ и говорить нечего: вамъ конечно очень хорошо извѣстно, что васъ совершенно уже не будутъ сѣчь, и если какой-нибудь варваръ-родитель, а еще возможнѣе этого—варварка-родительница вздумаетъ, по своимъ грубымъ привычкамъ, васъ посѣчь, вы можете прибѣгнуть къ благодѣтельному средству гласности и напечатать о нихъ...»

Далѣе затѣмъ Никита Безрыловъ обращается къ тѣмъ-же дѣтямъ съ такими словами:

«Та же высокая гуманность, окрестившая всѣхъ черномазыхъ мальчишекъ въ *вы* и избавившая васъ навсегда отъ розогъ, заботится также и о вашихъ маменькахъ.—У васъ, напримѣръ, Костя Пигасовъ, папенька строгъ? - «Строгъ!» А у васъ, m-lle Marie, тоже?—«Тоже строгъ».—И у васъ, Петя Жуковъ? «О, нѣтъ! у меня маманъ папу иногда цѣлуетъ, а иногда и по щекамъ бьетъ».—Прекрасно: къ вашему возрасту, т. е. когда вы сдѣлаетесь мужьями, вы всѣ должны будете походить на папеньку Жукова и, по ученію эмансипаціи, вамъ предстоятъ еще нѣкоторыя другія подробности, которыя вы теперь дѣтскимъ вашимъ умомъ и не поймете еще: у вашей супруги будетъ тогда во-первыхъ, вы—мужъ, во-вторыхъ, любимый ею любовникъ, въ третьихъ, любовникъ, который ее любитъ. Въ отношеніи Петербурга въ этомъ правѣ вѣроятно воспослѣдуютъ весьма маленькія измѣненія: въ лицѣ любящаго любовника всегда долженъ быть начальникъ ея мужа, а въ особѣ любимаго любовника—молодой подчиненный, какой-нибудь коллежскій секретарь или поручикъ, болѣе крѣпкій тѣломъ, чѣмъ духомъ».

Наконецъ почти въ заключеніе фельетона онъ обращается не къ дѣтямъ уже, а ко всѣмъ своимъ читателямъ:

«Говорятъ, въ видахъ освобожденія петербургскихъ собакъ отъ намордниковъ, будетъ данъ литературный вечеръ съ такого рода объ*явленіемъ, что «вотъ-де мы*, литераторы, глубоко сознавая, до какой *степени наши произведенія*, наши физіономіи, наши голоса даже на-

доѣли почтеннѣйшей публикѣ и не желая уже въ настоящемъ случаѣ болѣе испытывать ея великодушнаго терпѣнія, предложили заявить ей свои новыя, не совсѣмъ можетъ быть ей извѣстныя качества. Программа новаго литературнаго вечера будетъ такова: 1) Гг. Майковъ и Дружининъ, по своему геркулесовскому тѣлосложенію, будутъ представлять забавы великановъ, т. е. кидать трехпудовыми шарами, подымать 12-ти пудовыя палицы, останавливать за одно колесо четверку лошадей. Гг. Писемскій и Аскоченскій въ самой задушевной между собой бесѣдѣ будутъ первоначально предаваться около четверти часа размышленіямъ, а потомъ соленымъ судакомъ станутъ подкрѣплять свои бренныя тѣла, причемъ по преимуществу г. Писемскій будетъ съ истиннымъ восторгомъ запивать эту скудную пищу чистой невской водой, кидая взоры презрѣнія на стоящіе невдалекѣ отъ него ростбифъ, устрицы, портеръ и портвейнъ. Г. Панаевъ, съ полнѣйшимъ спокойствіемъ джентльмена, будетъ въ присутствіи всей публики считать свои, собственно ему принадлежащія 500,000 сер., а г. Некрасовъ, по своей столь глубоко переживаемой любви къ бѣднымъ и несчастнымъ будетъ, съ наслажденіемъ, играть съ выгнаннымъ кадетомъ въ свои козыри —и даромъ. Г. Гончаровъ, окруженный племянниками и внучатами, будетъ первымъ раздавать деньги, а вторыхъ держать и баловать у себя на колѣняхъ, кормить ихъ манной кашей, причемъ она будетъ падать ему на брюки, и все это онъ будетъ принимать съ величайшимъ наслажденіемъ. Съ г. Гербеля будутъ рисовать портретъ Виктора Эммануила. Г. Никитенко будетъ читать рѣчь о простотѣ слога. Г. Краевскій будетъ своимъ мелодическимъ голосомъ пѣть романсъ собственнаго своего сочиненія:

«О, сколь душою нѣжной
Я человѣчество люблю».

Газета «День», не желая имѣть съ петербургскими литераторами ничего общаго и въ то же время стремясь, въ укоръ сѣвернымъ славянамъ, представить южнаго славянина и патріота, намѣрена передѣлать повѣсть Тургенева «Наканунѣ» въ драму и поставить ее на сцену, причемъ роль Инсарова будетъ исполнять г. Пандуровъ, мужчина далеко не безъ пріятностей для женскаго пола».

Вотъ противъ этого фельетона Никиты Безрылова и ополчилась прогрессивная печать въ лицѣ редакціи «Искры», которая въ № 5-мъ своей газеты за 1862 г. помѣстила грозную филиппику противъ Никиты Безрылова.

«Общество поморныхъ,—читаемъ мы въ хроникѣ прогресса, въ вышеозначенномъ № 5 «Искры»—находится въ невыразимомъ огорченіи. Никогда еще русское печатное слово не было низводимо до такого позора, до такого поруганія, до какого низвела его «Библіотека для Чтенія» въ декабрьскомъ фельетонѣ своемъ прошедшаго года. Рука въ первый разъ являющагося въ русской литературѣ художника, какого-то Никиты Безрылова, на пяти страницахъ фельетона умѣла помѣстить столько грязи, пошлости, тупоумія, что картина въ цѣломъ вышла вполнѣ отвратительная. Если присовокупить къ этому ту безцеремонную наглость, съ которой новый художникъ насмѣхается и

ругается надъ всѣмъ, что современное общество вырабатываетъ въ себѣ лучшаго въ настоящее время, – то картина въ своемъ родѣ составляетъ верхъ совершенства. Гнусное-ли самолюбіе, руководимое перомъ Никиты Безрылова, тупоумное-ли невѣжество—то и другое требуетъ въ настоящемъ случаѣ безпощаднаго бичеванія.

Мы думаемъ, что самый жалкій паяцъ, вынужденный добывать себѣ насущное пропитаніе безсмысленнымъ кривляньемъ передъ толпой и шутовской критикой надъ всѣмъ, надъ чѣмъ ни попало, безъ разбора, лишь-бы только возбудить смѣхъ толпы, стоящей передъ его подмостками,— постыдится смѣяться надъ нѣкоторыми предметами, дорогими во всѣ времена и для всѣхъ людей безъ исключенія. Постыдится потому, что и самая невѣжественная толпа не будетъ слушать насмѣшекъ надъ подобными предметами, иначе какъ съ омерзеніемъ; потому что и самъ паяцъ, какъ-бы онъ ни былъ пошлъ, какими-нибудь корнями да приклѣпляется къ общественной жизни. Если у него не осталось ни одного чисто-человѣческаго чувства, то осталось по крайней мѣрѣ животное чувство привязанности къ своей семьѣ, къ отцу, матери, брату, сестрѣ. Во имя одной этой привязанности, съ потерею которой, при отсутствіи всѣхъ другихъ чувствъ, было-бы вовсе немыслимо никакое существо человѣческое, даже существо паяца, онъ не насмѣхается надъ людьми, которые употребляютъ свои вѣрованія, время, труды на устройство судьбы бѣдняковъ, подобныхъ ему, которые хлопочутъ изо всѣхъ силъ, чтобы воспитать въ обществѣ всеобщее уваженіе къ человѣческому достоинству, къ человѣческой личности, независимо отъ ея сословнаго и общественнаго положенія, независимо отъ ея богатства, бѣдности, пола, возраста, вообще внѣшнихъ условій, случайныхъ или мнимыхъ преимуществъ, которые наконецъ хотятъ дать возможность всѣмъ людямъ честно трудиться и жить, открывъ всѣмъ пути образованія и общественной дѣятельности, уничтоживъ отсталый взглядъ на женщину, существующій во многихъ классахъ нашего общества,— взглядъ, въ силу котораго женщина признается какимъ-то получеловѣкомъ, неспособнымъ ни къ умственному образованію, ни къ самостоятельной дѣятельности въ обществѣ, семействѣ, назначеннымъ самой природой быть не болѣе какъ самкой, служить прихотямъ мужчины, зависѣть отъ него во всемъ, однимъ словомъ, быть въ обществѣ какимъ-то жалкимъ паразитомъ.

Надъ всѣми подобными трудами нашихъ лучшихъ людей въ пользу меньшихъ братій, надъ всѣми благородными усиліями лучшаго современнаго общества пересоздать *себя*, поставить свою жизнь на новыхъ человѣческихъ, разумныхъ началахъ насмѣхается новый фельетонистъ «Библіотеки для Чтенія», Никита Безрыловъ, да еще какъ самоувѣренно насмѣхается-то! Такого гнуснаго, такого позорнаго для человѣческаго смысла смѣха намъ не случалось слыхать никогда!—Мы понимаемъ очень хорошо, что человѣкъ, надѣленный ограниченнымъ умомъ отъ природы, закоснѣвшій въ постоянной лѣни и безпутствѣ, можетъ дойти до полнаго отупѣнія къ движенію всякой новой мысли, можетъ не понимать самыхъ простыхъ новыхъ началъ и воззрѣній, выработанныхъ путемъ теоріи, и по невѣжеству своему можетъ *насмѣхаться надъ ними пошло*, глупо и вмѣстѣ съ тѣмъ, само собою *разумѣется, все-таки вредно* для общественнаго развитія; но мы не

можемъ понять, какимъ образомъ даже самый ограниченный человѣкъ можетъ дойти до такого отупѣнія, чтобы не только не признавать, но еще позволить себѣ насмѣхаться надъ истинами, для уразумѣнія которыхъ не требуется никакихъ усилій мысли, въ несомнѣнности которыхъ убѣждаетъ каждаго его собственное сердце и хотя какое-нибудь уваженіе къ самому себѣ. Если здѣсь дѣйствительно одно только тупоуміе,—то это тупоуміе безпримѣрное, далѣе котораго идти положительно невозможно. И новый русскій писатель Никита Безрыловъ по одному этому, если даже не предполагать въ немъ никакой гнусности,—явленіе въ высшей степени замѣчательное и рѣдкое! Принадлежитъ-ли онъ, Никита Безрыловъ, къ числу рожденныхъ, или какъ-нибудь случайно попалъ въ человѣческое общество? Есть-ли въ немъ человѣческое сердце? Шевелилась-ли въ немъ когда-нибудь человѣческая мысль, волновало-ли его когда-нибудь и какое-нибудь человѣческое чувство? Покраснѣлъ-ли онъ хоть разъ, когда писалъ свой фельетонъ, или даже такая капитальная глупость могла пройти черезъ его душу, не возбудивъ въ немъ отвращенія къ самому себѣ?—Всѣ эти вопросы съ высшей степени интересуютъ насъ, но еще болѣе, чѣмъ личность Никиты Безрылова, интересуетъ насъ личность редактора «Библіотеки для Чтенія», г. Писемскаго. Кто Безрыловъ? Личность темная, никому неизвѣстная, являющаяся въ литературѣ въ первый разъ, личность, не имѣющая никакого значенія. Напечатай Никита Безрыловъ свой фельетонъ отдѣльной брошюрой, брошюрки этой никто не зналъ-бы. Но устами Никиты Безрылова говоритъ цѣлая редакція журнала, во главѣ которой стоитъ г. Писемскій.

Писемскій! Кто не помнитъ, сколько когда-то надеждъ сосредоточивала русская публика на этомъ имени? - Съ какимъ сочувствіемъ привѣтствовала она каждое новое его произведеніе? Съ какимъ довѣрчивымъ упорствомъ многіе доселѣ надѣются услышать отъ г. Писемскаго *новое слово*, въ полномъ убѣжденіи, что г. Писемскій всею душою преданъ интересамъ современнаго движенія русскаго общества, что его сердце наболѣло и изныло при видѣ тѣхъ безчисленныхъ препятствій, какія новыя идеи встрѣчаютъ при своемъ появленіи въ русскомъ обществѣ!

А г. Писемскій между тѣмъ прехладнокровно, устами такого мудраго мужа, какъ Никита Безрыловъ, изрекаетъ анаѳемы, которымъ позавидовалъ бы даже Викторъ Ипатьичъ Аскоченскій.»

Дѣлая затѣмъ вышеприведенныя нами выписки изъ фельетона Никиты Безрылова, фельетонистъ «Искры» въ заключеніе своей статьи восклицаетъ:

«Долго мы не хотѣли вѣрить, чтобы это произведеніе Никиты Безрылова явилось въ «Библіотекѣ для Чтенія» съ вѣдома г. Писемскаго. Мы полагали, что г. Писемскій не читалъ его до напечатанія (что хотя странно для редактора, но тѣмъ не менѣе иногда возможно, не только по невниманію редактора къ своему дѣлу, но и по множеству занятій) и по прочтеніи не преминетъ печатно извиниться передъ публикой въ своемъ недосмотрѣ и объяснить причины появленія такой дикой нелѣпости въ его журналѣ. Ничего подобнаго однакожъ не случилось. Прошло болѣе мѣсяца со времени выхода въ свѣтъ декабря-

ской книжки «Библіотеки для Чтенія», а г. Писемскій все молчитъ. Не можетъ быть болѣе никакого сомнѣнія въ томъ, что г. Писемскій раздѣляетъ воззрѣніе Никиты Безрылова. Позволимъ же и мы себѣ высказать откровенно и безцеремонно наше мнѣніе по этому дѣлу.

«Прошли тѣ времена, когда литературную извѣстность можно было пріобрѣтать ловкой фразой, сладкимъ стихомъ, даже блестящимъ остроуміемъ, даже умѣньемъ сочинять повѣсти и романы. Нынѣ всякому, даже и не учившемуся въ семинаріи, извѣстно, что талантъ, который не имѣетъ искренняго стремленія служить общественному дѣлу, не заслуживаетъ никакого уваженія, а талантъ, употребляющій свои слова на разрушеніе этого дѣла, достоинъ всякаго презрѣнія. Это общее убѣжденіе раздѣляемъ и мы, — и съ настоящаго времени имя г. Писемскаго въ нашемъ журналѣ будетъ неразлучно съ именемъ г. Аскоченскаго».

Въ январьской книжкѣ «Библіотеки для Чтенія» за 1862 г. послѣдовали на эту филиппику два отвѣта. Одинъ, подписанный именемъ самого Писемскаго, гласилъ:

«Предоставивъ фельетонисту «Библіотеки для Чтенія» вѣдаться со своими противниками, я всѣ ругательства, помѣщенныя въ «Искрѣ» и касающіяся собственно меня и моихъ убѣжденій, отдаю на судъ публики, которой, смѣю думать, достаточно уже извѣстны и мои симпатіи, и мои антипатіи. Какъ ни слабы мои труды, но моимъ непотворствомъ ни вправо, ни влѣво, я — понятно — заслужилъ честное имя, которое не будетъ вычеркнуто въ глазахъ моихъ соотечественниковъ взмахомъ пера какихъ-то рьяныхъ и неизвѣстныхъ мнѣ оскорбителей моихъ».

Второй отвѣтъ, подписанный псевдонимомъ Никиты Безрылова, былъ наполненъ ругательствами, не уступавшими по своей рѣзкости и грубости филиппикѣ «Искры». Такъ напримѣръ, Никита Безрыловъ объявляетъ, что онъ—радикалъ, а его противники—шарлатаны, докторишки, такъ какъ, замазавши больному то въ томъ, то въ другомъ мѣстѣ общее разстройство организма, они увѣряютъ его, изъ личныхъ выгодъ, что онъ уже здоровъ, и далѣе Никита Безрыловъ грозится, что къ Святой недѣлѣ составитъ проэктъ новаго чтенія въ пользу бездарныхъ фельетонистовъ, окончательно прогнанныхъ изъ всѣхъ журналовъ, вслѣдствіе поднятія умственнаго уровня литературы, но противниковъ своихъ и тамъ не поименуетъ, потому что помѣститъ только тѣхъ литераторовъ, которыхъ заслуги литература цѣнитъ и уважаетъ.

Но забавнѣе всего, что послѣ цѣлаго потока ожесточенной брани Никита Безрыловъ заявляетъ о своемъ спокойствіи, оканчивая фельетонъ слѣдующими словами:

«*Поняли ли вы наконецъ* меня и чувствуете ли, какъ я выше васъ: *я даже не разсердился на* васъ чему доказательствомъ мой спокойный

тонъ; а между тѣмъ я Богъ знаетъ какихъ эпитетовъ могъ бы надавать вамъ, сказать, напримѣръ, что бездарность ваша въ высокой степени замѣчательна, необразованіе извѣстно всѣмъ и каждому, а гражданскія добродѣтели болѣе чѣмъ подъ сомнѣніемъ; но я этого не говорю, потому что даже и не знаю, кто вы лично такіе!»

Послѣ этого отвѣта Писемскаго издатели «Искры», В. С. Курочкинъ и Степановъ, обратились къ нему съ вызовомъ на дуэль, но Писемскій наотрѣзъ отказался отъ дуэли.

Къ несчастью для Писемскаго, его сторону приняла редакція газеты Стелловскаго и Гіероглифова «Русскій Міръ»; редакторы затѣяли литературный протестъ противъ «Искры», начали собирать подписи и въ № 6 «Русскаго Міра» объявили объ этомъ протестѣ, прибавивъ, что, когда листъ съ подписями находился въ редакціи «Русскаго Міра», подписавшихся было до 30, среди которыхъ встрѣчаются имена почти всѣхъ лучшихъ представителей русской литературы, редакторовъ и сотрудниковъ наиболѣе популярныхъ журналовъ, «Современника» и пр. Противъ этого объявленія въ свою очередь возстала редакція «Современника» и въ № 7 «Искры» было напечатано письмо къ В. С. Курочкину съ подписью всѣхъ членовъ редакціи «Современника»: М. Антоновича, Н. Некрасова, И. Панаева, А. Пыпина и Н. Чернышевскаго, въ которомъ редакція заявляетъ:

«Какія подписи лицъ, принадлежащихъ къ нашему журналу, могла видѣть на этомъ протестѣ редакція газеты «Русскаго Міра», мы не знаемъ, потому что не видѣли этого протеста. А не видѣли мы его потому, что господа собиратели подписей къ этому протесту не обращались къ намъ и съ вопросомъ о томъ, согласимся ли мы подписать ихъ протестъ, и въ этомъ случаѣ они поступили очень благоразумно, потому что мы вполнѣ одобряемъ ту статью «Искры», противъ которой, по объясненію редакціи «Русскаго Міра», хотятъ они протестовать».

Вся эта прискорбная исторія произвела на Писемскаго такое потрясающее впечатлѣніе, что, по словамъ Анненкова, онъ впалъ въ то состояніе изнеможенія, какое находило на него при всякихъ крупныхъ неудачахъ жизни. Онъ отказался отъ редакціи «Библіотеки для Чтенія», разорвалъ всѣ связи съ Петербургомъ, отказавшись въ то же время и отъ участія въ дѣлахъ литературнаго фонда, и со всей семьей переселился въ началѣ 1862 года въ Москву.

Конечнымъ результатомъ разрыва съ прогрессивнымъ лагеремъ и со всѣмъ движеніемъ 60-хъ годовъ былъ, какъ извѣстно, романъ «Взбаломученное Море», появившійся въ 1863 г. на

страницахъ «Русскаго Вѣстника». Исторія писанія этого романа изложена П. Д. Боборыкинымъ въ своихъ воспоминаніяхъ слѣдующимъ образомъ:

«Поѣздка заграницу, на лондонскую выставку, знакомство съ русскими эмигрантами, разные случаи, анекдоты, нѣсколько курьезныхъ типовъ тогдашнихъ пропагандистовъ закрѣпили въ Писемскомъ желаніе набросать широкую картину взбаломученнаго русскаго общества. Онъ приступилъ къ этому труду вполнѣ искренне; я въ этомъ нисколько не сомнѣваюсь. Помню, въ сентябрѣ 1862 года, Писемскій доканчивалъ, кажется, первую часть или во всякомъ случаѣ писалъ ее: онъ повторялъ все, что для него этотъ романъ — дѣло душевной потребности, хотя онъ напередъ знаетъ, что его предадутъ проклятію въ тогдашней передовой журналистикѣ. Онъ не остановился передъ соображеніемъ, что и фотографическій снимокъ съ разныхъ курьезовъ пропаганды и радикализма будетъ все-таки рискованнымъ поступкомъ, рискованнымъ не въ смыслѣ только личной репутаціи, а просто какъ скороспѣлое обобщеніе. Писалъ онъ свой романъ очень горячо и скоро. Процессъ писанья былъ такой, сколько помню: сначала черновой набросокъ, иногда даже карандашемъ; этотъ набросокъ переписывался тотчасъ же и къ нему дѣлались прибавленія, иногда приклеивались цѣлые листы, и только уже третья редакція представляла собою настоящій текстъ. Весь конецъ 1862 года пошелъ на эту работу. Въ доказательство того, что Писемскій не считался тогда и въ «Современникѣ» реакціоннымъ романистомъ, я приведу слѣдующій случай. Одинъ изъ членовъ редакціи «Современника» пріѣзжалъ къ Писемскому за нѣсколько минутъ до моего прихода начать переговоры о романѣ. Первыя двѣ части я слышалъ въ чтеніи самого автора, у него на вечерахъ, и тогда по содержанію ихъ нельзя было видѣть, что романъ выйдетъ весьма непріятный для молодежи».

П. Д. Боборыкинъ очевидно запамятовалъ годы представляемыхъ имъ фактовъ. Не могъ Писемскій въ концѣ 1862 года ни читать на своихъ вечерахъ первыя двѣ части своего новаго романа, ни вступать въ какіе-либо переговоры съ редакціей «Современника» (это послѣ протеста-то!), такъ какъ онъ въ это время былъ уже въ Москвѣ! Но совсѣмъ въ другомъ видѣ представится дѣло, если мы на одинъ только годъ передвинемъ назадъ то, что передаетъ П. Д. Боборыкинъ. Въ концѣ 1861 года у Писемскаго могли быть уже готовы первыя части романа; онъ ихъ читалъ на своихъ вечерахъ, и слухи о нихъ могли дойти до редакціи «Современника». Хотя и въ то время отношенія редакціи къ Писемскому были уже нѣсколько натянуты, но не до такой еще степени, чтобы немыслимо было начать переговоры о печатаніи романа, и къ тому же Писемскій не подавалъ еще повода видѣть въ немъ непримиримаго реакціонера, какимъ онъ проявилъ себя не въ концѣ, а въ самомъ началѣ 1862 года.

Въ этомъ убѣждаетъ насъ и та поразительная разница, какая существуетъ между первыми тремя частями романа и послѣдующими.

Въ первыхъ трехъ частяхъ мы видимъ все-того же Писемскаго, какимъ мы его знаемъ во всѣхъ предыдущихъ его произведеніяхъ. Исключая двухъ-трехъ мѣстъ, части эти безъ малѣйшей натяжки и дисгармоніи могли-бы быть напечатаны въ «Современникѣ». Вторая же половина очевидно написана уже въ 1862 году подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ происшедшаго разрыва: она преисполнена не только реакціоннаго направленія, но и крайняго негодованія и озлобленія.

Въ общемъ романъ производитъ мрачное впечатлѣніе безъисходнаго отчаянія. Если всѣ предыдущія произведенія Писемскаго были преисполнены пессимизма, то можно представить себѣ, до какихъ геркулесовыхъ столбовъ дошелъ этотъ пессимизмъ подъ вліяніемъ того погрома, какой пережилъ Писемскій во время писанія романа. Все русское общество представляется въ немъ въ видѣ безотраднаго моря, на поверхности котораго замѣчается много радужныхъ отливовъ; въ глубинѣ же таится страшная бездна, кишащая самыми отвратительными чудовищами, безкровными рыбами и мерзкими улитками, приросшими къ камнямъ, покрытымъ скользкою вонючею тиной. Мы уже знаемъ, въ какомъ безобразномъ видѣ представляетъ Писемскій народъ (отупѣлымъ, спившимся, приходящимъ въ звѣрское неистовство подъ вліяніемъ отравленной водки и безпрестанно вслѣдствіе этого попадающимъ въ каторгу). Интеллигенція рисуется имъ еще въ болѣе мрачныхъ и ужасающихъ краскахъ.

Такъ, на первомъ планѣ рисуется передъ нами герой романа—Баклановъ, котораго Писемскій опредѣляетъ такъ:

«Герой мой—во-первыхъ не герой, а обыкновенный смертный изъ нашей, такъ называемой, образованной среды. Онъ праздно выросъ, не дурно поучился, поступилъ по протекціи на службу, благородно и лѣниво послужилъ, выгодно женился, совершенно не умѣлъ распоряжаться своими дѣлами, и больше мечталъ, какъ бы пошалить, порѣзвиться и попріятнѣй провести время. Онъ—представитель того разряда людей, которые до 55 го года замирали отъ восторга въ итальянской оперѣ и считали, что это высшая точка человѣческаго назначенія на землѣ, а потомъ сейчасъ же стали съ увлеченіемъ и вѣрою школьниковъ читать потихоньку «Колоколъ». Внутри, въ душѣ, у этихъ господъ нѣтъ, я думаю, никакого самодѣланія; но зато натираться чѣмъ вамъ угодно снаружи—величайшая способность!»

Баклановъ—такимъ образомъ полное олицетвореніе людей, развивавшихся на почвѣ жизни даровой, праздной и безсодержательной. Исполненный въ то же время тщеславія, онъ на гимназической скамьѣ привыкъ уже корчить изъ себя картиннаго героя въ духѣ Марлинскаго. Пожавши подъ столомъ ручку кузинѣ, онъ уже хвастается товарищу Венявину:

«— А было, что я сталъ къ ней въ такія отношенія, при которыхъ уже пятиться нельзя! прибавилъ онъ съ разстановкой.

Венявинъ даже поблѣднѣлъ.

— Какъ такъ?

— Такъ!

И Александръ еще дальше закинулъ голову назадъ.

— Она была, продолжалъ онъ, закрывая глаза — грустна, какъ падшій ангелъ... Только и молила: «Что вы, что вы со мною дѣлаете?»... Но я былъ бѣшеный, прибавилъ онъ, сжимая кулаки».

Когда потомъ падшій ангелъ пококетничалъ немного съ флигель-адъютантомъ, Баклановъ воспылалъ ревностью и, уѣзжая въ Москву, въ университетъ, трагически проговорилъ: «Если не нашелъ въ прекрасномъ, такъ найду въ дурномъ!..»

И картинный геройчикъ предался студенческимъ пирушкамъ и скандаламъ, воображая, что онъ топитъ въ этомъ времяпровожденіи свою бурную страсть.

Такимъ же негодяемъ является затѣмъ онъ и въ жизни: жалокъ и гадокъ онъ и тогда, когда силою растлѣваетъ въ своемъ имѣніи крестьянскую дѣвушку, и когда стыдится ѣхать со своей матерью, и когда въ припадкѣ ревности къ Софи Леневой швыряетъ стулья и подсвѣчники въ ея домѣ, и когда женится на Евпраксіи изъ одного сластолюбиваго любопытства, что̀ за существо эта дѣвушка и какъ она будетъ любить. Жалокъ и гадокъ онъ и въ ночной омерзительной сценѣ съ Казимирой, и въ своей поѣздкѣ съ Софи Леневой въ Петербургъ тихонько отъ жены. Во всемъ этомъ вы видите безхарактернаго, пошлаго селадона, растлѣннаго до мозга костей.

Не уступаетъ въ своей дрянности Бакланову и героиня романа, Софи Ленева. Родившись въ бѣдномъ дворянскомъ семействѣ, Софи вынесла изъ дѣтства одну жажду—выбиться изъ подавляющей бѣдности какими бы то ни было средствами, для того чтобы жить въ волюшку, чтобы роскошью и блескомъ затмить всѣхъ окружающихъ. Для доставленія себѣ этого она готова продавать себя на каждомъ шагу; такъ, сначала продалась она мужу, старому, изжившему, зато богатому помѣщику, затѣмъ—откупщику. Сколотивши

денженки цѣною своей красоты, она поѣхала заграницу транжирить даромъ доставшіеся капиталы и мѣнять въ каждомъ городѣ любовниковъ, пока наконецъ за долги не попала въ Лондонское клиши. Далѣе вы видите мрачную агонію старорусской семейной жизни въ семьѣ Басардиныхъ. Печальна судьба Надежды Павловны Басардиной, вышедшей замужъ за полуидіота, чтобъ только дѣться куда нибудь и избавиться отъ монотонной, затхлой, невыносимой жизни въ домѣ сестры. А всѣ эти семейныя хлопоты и дрязги, гонка за богатыми тетушками, выпрашиванье тепленькихъ мѣстечекъ, чтобы какъ нибудь поправить финансы и устроить семью,—все это наводитъ на васъ тяжелую, свинцовую тоску. Особенно мрачно рисуется передъ вами типъ молодого Басардина, этой жертвы корпуснаго воспитанія, колотящаго будочниковъ по зубамъ, обѣдающаго даромъ въ трактирахъ, жаднаго къ деньгамъ, чувственнаго и низкаго. А далѣе за Басардинымъ открывается передъ вами цѣлый омутъ циниковъ и идіотовъ, блудниковъ и блудницъ, администраторовъ и откупщиковъ, совершающихъ подъ прикрытіемъ власти и денегъ уголовныя преступленія, отъ которыхъ волосы могутъ встать дыбомъ. Чего стоитъ одинъ типъ Іоны-циника, достойный пера Гоголя, такъ и просящійся въ «Мертвыя Души».

Однимъ словомъ въ этой картинѣ вы видите безусловное отрицаніе Писемскимъ всей нашей прошлой, дореформенной жизни. Но отрицая все прошлое, Писемскій отрицаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и все то движеніе, которое пережило наше общество.

«Не мы виноваты,—оправдывается онъ въ своемъ пессимизмѣ,—что въ быту нашемъ много грубости и чувственности, что такъ называемая образованная среда привыкла говорить фразы, привыкла или ничего не дѣлать, или дѣлать вздоръ, что, не цѣня и не прислушиваясь къ нашей главной народной силѣ, здравому смыслу, она кидается на первый фосфорическій свѣтъ, гдѣ бы и откуда ни мелькнулъ онъ, и дѣтски вѣритъ, что въ немъ вся сила и спасеніе.

Въ началѣ нашего труда, при раздававшемся около насъ со всѣхъ сторонъ говорѣ, шумѣ и трескѣ, ясное предчувствіе говорило намъ, что это не буря, а только рябь и пузыри, отчасти надутые извнѣ, а отчасти появившіеся отъ поднявшейся снизу разной дряни. Событія какъ нельзя лучше оправдывали наши ожиданія.»

А въ другомъ мѣстѣ онъ проводитъ ту же мысль еще яснѣе, влагая ее въ уста одному изъ своихъ героевъ—Веригину.

«— Неужели же во всемъ послѣднемъ движеніи вы не признаете никакого смысла? спросилъ Баклановъ.

Веригинъ усмѣхнулся.—Никакого!.. одно только обезьянство, игра *въ обѣдню, какъ дѣти* вонъ играютъ.

— Хороша игра въ обѣдню, за которую въ крѣпость попадаютъ сказалъ Баклановъ.

— Очень жаль этихъ господъ въ ихъ положеніи, возразилъ Веригинъ—тѣмъ болѣе, что, говоря откровенно, они плоть отъ плоти нашей, кость отъ костей нашихъ. То, что мы дѣлали крадучись, чему потихоньку симпатизировали, они возвели въ принципъ, въ систему; это наши собственныя сѣмена, только-что распустившіяся въ букетъ.

— Если подъ движеніемъ разумѣть —началъ Юрасовъ—собственно революціонное движеніе, такъ оно конечно безсмыслица, но движеніе — въ смыслѣ реформъ!..

Веригинъ придалъ какое-то странное выраженіе своему лицу.»

Сообразно такому взгляду, что все движеніе представляется ничѣмъ инымъ, какъ распустившимися сѣменами прежнихъ мерзостей, по пословицѣ яблоко отъ яблони падаетъ недалеко, Писемскій всю соль своей сатиры основалъ на томъ, что представителями движенія въ своемъ романѣ сдѣлалъ тѣ самыя личности, которыя въ столь мрачномъ видѣ рисуются у него въ первыхъ трехъ частяхъ романа, изображающихъ дореформенную жизнь. Читая романъ его, можно подумать, что все движеніе только въ томъ и заключалось, что Баклановы, Софи Леневы, Басардины, Галкины и пр., и пр. внезапно сорвались съ цѣпи и подѣлались ярыми радикалами, оставаясь всѣ тѣми-же негодяями и уродами, какими были и прежде,— и ничего сколько нибудь свѣтлаго, отраднаго и обновляющаго движеніе не принесло, ни одной личности не выдвинуло сколько нибудь почтенной и достойной уваженія.

Понятно послѣ этого, что романъ Писемскаго былъ встрѣченъ общимъ негодованіемъ почти всей прессы. На Писемскаго возстали не одни критики прогрессивныхъ органовъ въ лицѣ М. А. Антоновича въ «Современникѣ» и Зайцева въ «Русскомъ Словѣ», но и умѣренныя, полуконсервативныя «Отечественныя Записки» не могли не признать во «Взбаломученномъ Морѣ» нелѣпаго пасквиля на молодое поколѣніе. Однимъ словомъ, Писемскій вооружилъ противъ себя людей самыхъ противоположныхъ взглядовъ и никому не угодилъ. Но всего болѣе покоробило въ романѣ Писемскаго всѣхъ благомыслящихъ людей то обстоятельство, что писатель, способный творить такіе, чисто гоголевскіе типы, какъ Іона-циникъ, унизился въ своемъ романѣ до грубаго шаржа, выставивъ рядъ безобразныхъ карикатуръ, въ которыхъ подъ прозрачными псевдонимами легко было узнать общеизвѣстныхъ личностей, парадировавшихъ въ то время на аренѣ общественной жизни. Въ одномъ этомъ обнаруживалось уже паденіе таланта.

VI.

Послѣдній московскій періодъ жизни Писемскаго.—Его обезпеченіе.—Произведенія этого періода.—Паденіе таланта и популярности.—Болѣзни.—Юбилей двадцатипятилѣтія литературной дѣятельности Писемскаго.—Участіе въ празднествахъ по случаю открытія памятника Пушкину.—Смерть.—Мнѣніе П. В. Анненкова о Писемскомъ, какъ человѣкѣ и писателѣ.

Съ переѣздомъ Писемскаго въ 1863 г. въ Москву начинается новый и послѣдній періодъ его жизни. Первоначально Писемскій пристроился къ «Русскому Вѣстнику», принявши подъ свое завѣдываніе беллетристическій отдѣлъ журнала. Въ 1866-мъ-же году онъ поступилъ по протекціи министра внутреннихъ дѣлъ П. А. Валуева въ совѣтники губернскаго правленія. Вообще въ матеріальномъ отношеніи въ этотъ періодъ жизни Писемскій былъ такъ обезпеченъ, какъ никогда прежде, и достигъ повидимому всего, чего добивался всю жизнь. Литературный трудъ его теперь оплачивался очень дорого, по 250 р. за листъ, вслѣдствіе чего за свои романы ему приходилось получать довольно крупные куши, тысячъ въ двѣнадцать, въ десять. За комедію «Финансовый геній» газета Гатцука заплатила ему тысячу рублей. При такихъ условіяхъ, обладая отъ природы скопидомствомъ, Писемскій настолько со временемъ округлилъ свое состояніе, что могъ оставить и редакторскія обязанности въ «Русскомъ Вѣстникѣ», а въ 1873 г. и службу. Съ конца шестидесятыхъ годовъ въ Москвѣ, въ Борисоглѣбскомъ переулкѣ на Поварской, Писемскій купилъ небольшой клочокъ земли, обстроилъ его чистыми наемными помѣщеніями, подъ собственнымъ наблюденіемъ, и съ замѣчательнымъ разсчетомъ пространства и воздуха отвелъ себѣ на дворѣ особый флигель съ садикомъ, отдѣлавъ его для спокойной трудовой жизни очень тщательно.

Казалось, ничто не препятствовало Писемскому спокойно, мирно и счастливо доживать въ своей семьѣ послѣдніе годы своего существованія. Тѣмъ не менѣе этотъ послѣдній періодъ былъ самымъ мрачнымъ во всей его жизни, и подъ личиной внѣшняго благосостоянія таилось много горя и душевныхъ страданій.

Начать съ того, что въ литературной дѣятельности Писемскаго послѣ «Взбаломученнаго Моря» и «Лгуновъ» (напечатанныхъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1864 г.) послѣдовалъ рѣзкій переломъ, и, дойдя въ вышеозначенныхъ произведеніяхъ до высокаго развитія своего творчества, Писемскій съ поразительной быстро-

той покатился внизъ. По крайней мѣрѣ всѣ послѣдующія произведенія, появившіяся позже 1864 года, цѣлою пропастью отдѣляются отъ предыдущихъ; въ нихъ и слѣда не замѣтно прежняго Писемскаго, и всѣ они обнаруживаютъ такое крайнее паденіе таланта, подобнаго которому вы не найдете въ русской литературѣ.

Таковы были, во-первыхъ, напечатаныя во «Всемірномъ Трудѣ» Хана въ 1867 и 1868 годахъ три трагедіи Писемскаго: «Самоуправцы», «Боевые соколы» и «Поручикъ Гладковъ». Въ 1869 году въ «Зарѣ» печатался романъ «Люди сороковыхъ годовъ»,— извѣстный намъ по тѣмъ автобіографическимъ матеріаламъ, которые мы изъ него извлекли. Въ 1871 году въ «Бесѣдѣ» появился романъ «Въ Водоворотѣ».

Затѣмъ Писемскій написалъ рядъ памфлетическихъ комедій, въ которыхъ онъ клеймилъ язву того времени—различнаго рода финансовыхъ тузовъ, въ видѣ концессіонеровъ, директоровъ банковъ и акціонерныхъ предпріятій, биржевыхъ игроковъ, червонныхъ валетовъ и т. п. Таковы, начиная съ 1873 года и по 1876, комедія его «Подкопы», «Ваалъ», Просвѣщенное время» и «Финансовый геній». Писемскій большое значеніе придавалъ этимъ своимъ произведеніямъ. Такъ, въ одномъ письмѣ онъ между прочимъ говоритъ:

«Сначала я обличалъ глупость, предразсудочность, невѣжество, смѣялся надъ дѣтскимъ романтизмомъ и пустозвонными фразами, боролся противъ крѣпостного права, преслѣдовалъ чиновничьи злоупотребленія, обрисовывалъ цвѣтки нашего нигилизма, котораго теперь ужъ созрѣваютъ плоды, и въ концѣ концовъ принялся за сильнѣйшаго можетъ быть врага человѣческаго, за *Ваала и за поклоненіе золотому тельцу*, и только въ прошломъ году былъ глубоко утѣшенъ тѣмъ, что мѣщане и купцы (что́ подъ этими кличками я разумѣю—вы уясните себѣ изъ романа моего «Мѣщане») отодвинуты на задній планъ и въ массѣ случаевъ опозорены. Открылось воочію всѣхъ, что мошенничество разныхъ предпринимателей и поставщиковъ колоссальны, что торговля идетъ на постыднѣйшемъ обманѣ; банковскія воровства чуть не каждодневно совершались и совершаются, и подъ всею этою мерзостью, какъ чистые ангелы, возсіяли наши солдаты и офицеры,—но довольно. Всего не перескажешь, что кипитъ и волнуется въ моей *ужъ*, кажется, старческой душѣ».

Подобное высокое мнѣніе о своихъ обличительныхъ комедіяхъ *Писемскій составилъ* конечно подъ живымъ впечатлѣніемъ сцени-

ческаго успѣха ихъ. Онъ ставилъ на видъ, что публика помимо апплодисментовъ словесно благодаритъ его за то, что онъ «хоть на сценѣ по крайней мѣрѣ казнитъ этихъ негодяевъ, до которыхъ суду еще долго не добраться.»

Но успѣхъ этотъ былъ крайне относителенъ и эфемеренъ и основывался исключительно на сенсаціи выведенія на сцену въ грубомъ шаржѣ личностей, въ которыхъ публика узнавала знакомыхъ ей представителей финансоваго міра. Поэтому пьесы его не могли долго держаться на сценѣ, скоро теряя интересъ дня. Какъ ничтожно въ то же время было ихъ художественное значеніе, можно судить по тому, что даже дружественный Писемскому журналъ «Русскій Вѣстникъ» не рѣшился напечатать пьесу его «Финансовый геній» на своихъ страницахъ, о чемъ Писемскій сообщаетъ въ письмѣ къ П. В. Анненкову.

«Черезъ Тургенева я вчера послалъ вамъ экземпляръ моей новой пьески, именуемой «Финансовый геній», которую, какъ вы увидите, я напечаталъ въ маленькой газеткѣ Гатцуга вслѣдствіе того, что съ этой пьеской произошелъ странный случай. Я отправилъ ее въ «Русскій Вѣстникъ», какъ въ единственный журналъ, съ которымъ у меня сохранились нѣкоторыя отношенія, но, увы! и тамъ изъ разныхъ, какъ мнѣ говорили, новыхъ сотрудниковъ образовалась враждебная мнѣ партія, которая поспѣшила мнѣ возвратить мою рукопись, за негодностью къ напечатанію.»

Послѣ паденія «Финансоваго генія», который едва выдержалъ три представленія, Писемскій снова принялся за романы и въ послѣдніе четыре года своей жизни написалъ ихъ два — «Мѣщане» и «Масоны».

Оба эти романы были такъ безцвѣтны, вялы и скучны, что даже И. С. Тургеневъ, отзывавшійся о послѣднихъ произведеніяхъ Писемскаго крайне снисходительно и всячески старавшійся ободрить его, писалъ ему послѣ чтенія «Мѣщанъ».

«Чтеніе «Мѣщанъ» доставило мнѣ много удовольствія, хотя конечно поставить этотъ романъ на одну высоту съ «Тысячью Душъ», «Взбаломученнымъ Моремъ» и другими вашими крупными вещами нельзя; но вы сохранили ту силу, жизненность и правдивость, которыя особенно свойственны вамъ и составляютъ вашу литературную физіономію. Виденъ мастеръ, хотя и нѣсколько усталый, думая о которомъ, все еще хочется повторить: «Вы, нынѣшніе, нутка!»

Писемскій отвѣчалъ ему на это: «касательно романа вы совершенно справедливо сказали: я дѣйствительно усталъ писать, а еще болѣе этого жить, тѣмъ болѣе, что хоть конечно старость не

радость для всѣхъ, но у меня она особенно уже нехороша и исполнена такихъ мрачныхъ страданій, какихъ не желалъ-бы я и злѣйшему врагу своему.»

И эти слова не были фразой, вырвавшейся въ минуту случайнаго сокрушенія. Писемскій выразилъ здѣсь вполнѣ рельефно то душевное состояніе, которое не покидало его впродолженіи всего періода его московской жизни. Внѣшне обезпеченный, по наружности счастливый человѣкъ, на самомъ дѣлѣ чувствовалъ себя ежеминутно глубоко несчастнымъ. Потеря популярности, этого жизненнаго элексира, который одинъ только можетъ поддержать энергію писателя и составляетъ все утѣшеніе жизни его,—была червякомъ, который вѣчно глодалъ его сердце и, не давая ему ни минуты покоя, подтачивалъ его силы. Тщетно старались ободрить его друзья; тщетно и самъ онъ старался утѣшить себя призрачнымъ успѣхомъ своихъ послѣднихъ произведеній. Не могъ не чувствовать онъ паденія своихъ силъ и угасанія творчества, не могъ быть нечувствительнымъ и къ отзывамъ прессы, которая съ каждымъ новымъ произведеніемъ его становилась къ нему немилостивѣе и безжалостнѣе и, можно сказать, заживо отпѣвала его. Напрасно старался онъ относиться къ своимъ зоиламъ съ гордымъ презрѣніемъ, обзывая ихъ «разными газетными и общественными гадинами» и утѣшая себя тѣмъ, что «въ нашей критикѣ, почти исключительно захваченной за послѣднія пятнадцать лѣтъ газетами, царитъ хаосъ или, точнѣе сказать, «безобразіе, такъ что даже масса публики, далеко неразборчивая, не читаетъ критическихъ статей и не вѣритъ имъ, потому что всѣ мнѣнія ихъ авторовъ или писцовъ или тенденціозны, или невѣжественны, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и продажны.» Здравый смыслъ не могъ не подсказать Писемскому, что если даже предположить всѣхъ критиковъ его поголовно людьми самыми низкими и ничтожными, то обычное свойство такихъ людей—пресмыкаться передъ силою, пока она въ полномъ разцвѣтѣ, и тѣмъ яростнѣе нападать на нее, чѣмъ очевиднѣе ея паденіе.

И дѣйствительно, рука объ руку съ недовольствомъ людьми шло у Писемскаго недовольство и самимъ собою. «Мы встрѣтились,—разсказываетъ г. Авсененко въ своихъ воспоминаніяхъ о Писемскомъ,—въ первый разъ въ 1869 г. Алексѣй Ѳеофилактовичъ тогда только-что окончилъ самый большой свой романъ—«Люди сороковыхъ годовъ» и пріѣхалъ въ Петербургъ—сильно усталый, больной и *отчасти, кажется,* недовольный собою. Онъ зналъ, что превосходно

удавшіяся второстепенныя лица романа не выкупаютъ бѣдности центральнаго лица, къ судьбѣ котораго авторъ пріурочилъ много автобіографическаго. «Истомился, шестьдесятъ листовъ вѣдь написалъ», жаловался онъ самъ. «Да и вообще усталъ,—говорилъ онъ, въ тотъ-же вечеръ:—вѣдь я, шутка сказать, уже восемсотъ лицъ вывелъ въ своихъ романахъ и повѣстяхъ, и все дрянь какую».

При такихъ условіяхъ и безъ того уже расположенный къ хандрѣ и мнительности, Писемскій съ каждымъ годомъ становился мрачнѣе. «Я окончательно дѣлаюсь мученикомъ моей хандры», писалъ онъ Анненкову въ августѣ 1875 г. «Ипохондрическое настроеніе,—жалуется онъ въ началѣ 1871 г. г-жѣ Бларамбергъ,—владѣетъ мною вполнѣ: ко всякой умственной работѣ полнѣйшее отвращеніе, къ письменному столу подойти нѣтъ силъ».

«Физически я здоровъ,—сообщаетъ онъ около того-же времени Тургеневу:—но никакъ нельзя этого сказать про мою умственную и нравственную сторону: ипохондрія мучитъ меня невыносимѣйшимъ образомъ. Не только что не могу писать, но даже отъ всякаго, хоть сколько-нибудь умственнаго занятія чувствую полнѣйшее отвращеніе, такъ что написать настоящее письмо для меня уже сильный трудъ, который одолѣть я могъ не ранѣе, какъ въ три дня. Слава Богу, что все болѣе и болѣе раскрывающееся во мнѣ религіозное чувство еще даетъ нѣкоторое успокоеніе и подкрѣпленіе моей страдающей душѣ».

Въ мартѣ 1878 г. Писемскій снова жалуется Тургеневу: «подъ какими тягостями и скорбями живемъ мы, и выразить не могу. Каждодневно и на каждомъ шагу только и приходится слышать: умеръ, умеръ, умеръ. Одинъ московскій университетъ потерялъ четырехъ профессоровъ. Актеры тоже мрутъ и между прочимъ Шумскій, но зато процвѣтаютъ газетчики, всякаго рода подрядчики и поставщики, и контористы.» И далѣе Писемскій говоритъ о себѣ: «Мнѣ, по моему душевному настроенію, чѣмъ хуже, тѣмъ лучше. Упадокъ силъ у меня такой, что я едва совладалъ, чтобы написать это, кажись, недлинное письмецо».

Особенно-же увеличилась хандра Писемскаго послѣ того, какъ надъ нимъ неожиданно разразилась страшная катастрофа. Любимый сынъ его, Николай, замѣчательный по уму и благородству характера молодой человѣкъ, только-что блистательно кончившій университетскій курсъ и уѣхавшій въ Петербургъ, гдѣ у него было уже мѣсто и открывались большія надежды на будущее,

внезапно покончилъ жизнь самоубійствомъ, причины котораго остались невыясненными. «Ударъ,—по словамъ П. В. Анненкова,— для Писемскаго-отца былъ сокрушительный въ полномъ смыслѣ слова. По свидѣтельству домашнихъ, онъ уже никогда до самой смерти не поправился послѣ него. Со смертію сына наступила та полоса кажущейся, призрачной жизни, которая имѣетъ подобіе дѣйствительной, настоящей, будучи въ сущности только свидѣтельствомъ ея отсутствія. Она тянулась довольно долго для Писемскаго, благодаря попечительной рукѣ, находившейся возлѣ него. Рука эта потрудилась ввести опять Писемскаго въ колею вседневной, обыкновенной, будничной жизни, которая на душевно-больныхъ дѣйствуетъ болѣе спасительно, чѣмъ обыкновенно думаютъ. По милости обязательныхъ распорядковъ такой жизни, Писемскій возвратился опять къ свѣту, къ своимъ знакомымъ, по временамъ къ юмористическому настроенію и даже къ мечтамъ и затѣямъ своей фантазіи, которыя составляли вторую природу его; но все это уже производилось безъ увлеченія, безъ пыла и страсти. Въ послѣднее время Писемскій походилъ на блѣдную копію съ эффектнаго или съ содержательнаго оригинала. Душевная рана со всѣми мыслями, которыя она пробуждала, никогда уже не закрывалась и медленно, но постоянно разливала отраву по всему существу его».

Нѣтъ ничего удивительнаго, что подъ вліяніемъ безпрерывной хандры отъ природы здоровый, можно сказать, желѣзный организмъ Писемскаго съ каждымъ годомъ началъ все болѣе и болѣе хилѣть. Наступила преждевременная дряхлость. Главнымъ послѣдствіемъ ипохондріи и затѣмъ въ свою очередь причиною массы недуговъ былъ запой, которому Писемскій подвергался съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе, особенно-же послѣ смерти сына. «Въ позднѣйшихъ нашихъ встрѣчахъ,—разсказываетъ Анненковъ,—я замѣчалъ годъ отъ году все бо̀льшую перемѣну въ Писемскомъ. Онъ замѣтно отяжелѣлъ и осунулся, а красивое лицо, съ крупными умными чертами, его отличавшими, пріобрѣтало все болѣе и болѣе болѣзненное выраженіе. Онъ ничѣмъ не страдалъ, но жаловался на утрату силъ. Помню, что однажды онъ зашелъ ко мнѣ по дорогѣ къ мѣсту служенія, въ форменномъ своемъ вицъ-мундирѣ, и на замѣчаніе, что привольная московская жизнь кончается обыкновенно протестомъ всего организма нашего—отвѣчалъ печально: «Это имѣетъ смыслъ по крайней мѣрѣ, а вотъ я, вставая *утромъ съ постели*, уже чувствую безъ всякаго повода усталость *во всемъ существѣ*». Не трудно было угадать, что первый серьезный

недугъ или первое серьезное несчастіе сломитъ этотъ организмъ, надорванный уже мыслью и постояннымъ безпокойнымъ состояніемъ духа, несмотря на внѣшній, крѣпкій составъ его, обманывавшій всѣхъ, кто видѣлъ Писемскаго».

Покинувъ службу въ 1872 году, Писемскій ежегодно лѣтомъ отправлялся заграницу для свиданія съ другимъ оставшимся сыномъ, который приготовлялся въ Геттингенѣ, по порученію московскаго университета, къ занятію мѣста адъюнкта по каѳедрѣ права, равно и для поправленія здоровья. Два лѣта сряду (1874—1875) встрѣчалъ Писемскаго въ Баденѣ Анненковъ, и съ перваго-же раза поразилъ его видъ разрушенія, произведеннаго въ Писемскомъ горемъ и временемъ. Писемскій, по словамъ Анненкова, походилъ на руину. «Грустно было видѣть,—говоритъ онъ,—какъ все существо его приходило въ трепетъ отъ воображаемыхъ близко грядущихъ бѣдствій и искало спасенія вокругъ себя съ покорностью и безпомощностью ребенка. Міръ былъ уже населенъ для него одними страхами, предчувствіями бѣдствій, грозными событіями, которыя при всякомъ случаѣ возникали въ его умѣ, облекаясь плотію, и стояли какъ живыя, да еще и во всеоружіи, придуманномъ для нихъ болѣзненнымъ воображеніемъ страдальца. Такъ однажды, ожидая прибытія сына въ Баденъ, замедлившаго почему-то свой отъѣздъ изъ Геттингена, Писемскій пришелъ въ отчаяніе. Онъ создалъ полную картину крушенія желѣзнодорожнаго поѣзда, на которомъ, по его же соображеніямъ, долженъ былъ находиться несчастный молодой человѣкъ, и умолялъ всѣхъ встрѣчныхъ справиться о мѣстѣ катастрофы и о томъ, куда слѣдуетъ направиться, чтобы подобрать трупъ погибшаго. Никакія объясненія и представленія на него не дѣйствовали; онъ метался цѣлую ночь и весь день въ страшной тоскѣ до тѣхъ поръ, пока не явился на лицо самъ оплакиваемый сынъ. Надо сказать, что какъ сынъ, такъ и жена Писемскаго знали вообще, какъ обращаться съ фантазіями больного. Будущій адъюнктъ профессоръ, напримѣръ, очень серьезно выслушивалъ предостереженія отца относительно осторожнаго перехода черезъ улицу, осмотрительности въ выборѣ лошадей и извощичьяго экипажа и т. д., и безъ улыбки принималъ всѣ его совѣты подобнаго-же рода. Когда цѣной такихъ уступокъ и попеченій покупались минуты душевнаго спокойствія для Писемскаго, онъ становился прежнимъ добродушнымъ и остроумнымъ юмористомъ: анекдоты стараго времени, воспоминанія молодости казались неизсякаемыми; жилка комика пробуждалась въ

летаргіи и сказывалась въ противопоставленіи характеровъ, имъ встрѣченныхъ, одного другому и т. д. Впрочемъ оживленіе продолжалось обыкновенно недолго, а къ концу жизни—всѣ эти остатки бывалой веселости все болѣе и болѣе смолкали».

Какъ оазисы въ степи, выпали на долю Писемскаго въ эту эпоху его жизни и нѣсколько такихъ свѣтлыхъ впечатлѣній, которыя на нѣкоторое время разсѣевали его сплинъ.—Такое впечатлѣніе доставилъ Писемскому нѣмецкій переводъ «Тысячи Душъ» д-ра Кайслера. Тургеневъ поспѣшилъ обрадовать Писемскаго по этому поводу слѣдующимъ письмомъ отъ 9 окт. 1869 г.:

«Передо мною на столѣ лежитъ нѣмецкій переводъ вашихъ «Тысячи Душъ», изданный въ Берлинѣ, въ двухъ довольно изящныхъ томикахъ. Вѣроятно это вамъ не безъизвѣстно; но что̀ можетъ быть еще не дошло до васъ—это то, что вашъ романъ имѣетъ очень значительный успѣхъ въ Берлинѣ и вообще въ нѣмецкой публикѣ—и что вѣроятно дѣло на этомъ не остановится. Я заглянулъ въ переводъ: кажется, хорошо и вѣрно; переводчикъ (нѣкто д-ръ Кайслеръ) почелъ за нужное кое-что выкинуть, ну, да Богъ съ нимъ! Вотъ и вы шагнули черезъ границы своей родины, и Alexis Pisemsky «станетъ именемъ знакомымъ европейскому уху».

«Лучшій критикъ берлинскій - Френцель,—читаемъ мы въ слѣдующемъ письмѣ,—въ № 501 «National Zeitung» посвятилъ вамъ цѣлую статью, гдѣ называетъ вашъ романъ—«рѣдкимъ явленіемъ», я вамъ говорю, вы теперь въ Германіи—извѣстность».

Послѣ присылки Писемскому статьи Френцеля и 5 отрывковъ изъ разныхъ газетъ, расхваливавшихъ романъ Писемскаго, въ одномъ изъ послѣдующихъ писемъ Тургеневъ писалъ:

«Успѣхъ вашихъ «Тысячи Душъ» весьма поощряетъ Кайслера къ предпріятію перевода «Взбаломученное Море». Душевно радуюсь всему этому, во-первыхъ, за васъ, и во-вторыхъ, за русскую литературу вообще. Стало-быть, въ насъ что-то есть, коли нѣмцы, вообще насъ недолюбливающіе и недовѣряющіе намъ, насъ переводятъ. Отзывы нѣмецкой критики о «Тысячѣ Душъ»—всѣ безъ изъятія самыя благопріятные; ваши лица находятъ достойными Диккенса, Теккерея» и т. д.

Но болѣе всего обрадовалъ Писемскаго тотъ фактъ, что Юліанъ Шмидтъ въ его «Zeitgenossensche Bilder» удостоилъ Писемскаго цѣлой статьи, на одномъ ряду съ первоклассными европейскими писателями. Подъ впечатлѣніемъ этой чести и по совѣту Тургенева, Писемскій, въ бытность свою въ Берлинѣ въ 1875 г., посѣтилъ Юліана Шмидта, чтобы лично поблагодарить его за лестный отзывъ. Визитъ однако превратился почти въ пантомиму, *такъ какъ ни хозяинъ*, ни гость не имѣли возможности произвести *достодолжный обмѣнъ мыслей*, и горько жаловался Писемскій, опи-

сывая это неудачное свиданіе Тургеневу, на свое «полнѣйшее невѣдѣніе иностранныхъ языковъ».

Еще болѣе радостнымъ событіемъ послѣдняго періода жизни Писемскаго, относящимся къ тому же 1875 году, было празднованіе двадцатипятилѣтняго юбилея его литературной дѣятельности. «Въ обществѣ любителей русской словесности,—сообщаетъ онъ Тургеневу,—какъ я ни отбоявривался, какъ ни приводилъ тысячи резоновъ, однако положили въ нынѣшнемъ январѣ праздновать мой двадцатипятилѣтній юбилей. Все это, разумѣется, на бѣдную сѣдую голову, не чаявшую никакихъ себѣ чествованій, со стороны петербургской журналистики вызвало цѣлое море брани и оскорбленій, но отказаться не было возможности, потому что это значило обидѣть».

Празднованіе состоялось 19-го января 1875 года. Засѣданіе общества любителей россійской словесности, посвященное этому торжеству, открылось въ началѣ второго часа пополудни въ университетской библіотекѣ. Число желавшихъ присутствовать на этомъ собраніи было такъ велико, что, по выраженію С. А. Юрьева, еслибъ можно было увеличить вдвое, втрое размѣры залы университетской библіотеки, то и тогда пришлось-бы многимъ отказать въ выдачѣ входныхъ билетовъ. Юбилейныя рѣчи говорилъ Иловайскій, Алмазовъ и Юрьевъ, причемъ рѣчь І. А. Юрьева произвела наиболѣе сильное впечатлѣніе на все собраніе. Считаемъ нелишнимъ передать ее въ краткомъ изложеніи «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей»:

«Жизнь общества выражается въ его литературѣ, представителемъ которой является писатель. Въ нашемъ народѣ родятся таланты, и они живутъ не безцѣльно: въ нихъ народъ воплощаетъ самого себя и видитъ свой образъ въ твореніяхъ своихъ избранниковъ, посредствомъ которыхъ доходитъ до самопознанія. То, что для народа будетъ *самопознаніемъ*, то для общества будетъ *сознаніемъ*: въ произведеніяхъ своихъ писателей оно видитъ себя и сознаетъ себя. Литература—это общественное богатство, предъ которымъ ничто—всѣ сокровища міра: отнимите у общества литературу—и оно со всѣми его капиталами, желѣзными дорогами, чиновничьимъ тщеславіемъ и т. п. останется нищимъ: у него не будетъ самосознанія, той высшей славы, этого благоразумнаго и человѣческаго существованія людей. Въ дорогой плеядѣ нашихъ писателей, способствовавшихъ общественному сознанію, стоитъ А. Ѳ. Писемскій. Въ его произведеніяхъ вообще

и драматическихъ въ частности отразился духъ нашего времени, болѣзненные симптомы котораго заставляютъ содрогаться всякое благородное сердце. Съ одной стороны—это страшный недугъ, подобно злой эпидеміи, охватившей собой все наше общество—алчность къ наживѣ, деньгамъ и матеріальнымъ благамъ въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, а съ другой—чудовищный упадокъ общественной нравственности, отрицаніе самыхъ священныхъ началъ человѣческой жизни и легкость частныхъ и общественныхъ отношеній. Краснорѣчивыми аргументами такой египетской проказы служатъ «Ваалъ» и «Подкопы». Но писатель, помимо отрицательныхъ сторонъ, долженъ представить и положительныя стороны жизни, безъ которыхъ произведенія его, какое бы высокое художественное значеніе они ни имѣли, будутъ лишены права на признаніе въ немъ полнаго выраженія современной жизни; писатель долженъ показать идеалъ, который онъ носитъ въ своей душѣ. Какой-же идеалъ у Писемскаго? Онъ изображаетъ только однѣ аномаліи, язвы и безобразія. Но отсюда никакъ не слѣдуетъ, что писатель не имѣетъ идеала. Чѣмъ яснѣе идеалъ у писателя, тѣмъ выше выступаютъ всѣ противорѣчія и уклоненія, и тѣмъ настоятельнѣе и энергичнѣе является въ писателѣ преслѣдованіе тѣхъ противорѣчій: онъ освѣтитъ ихъ свѣтомъ своего идеала и передъ нимъ еще ярче и безобразнѣе возстанутъ эти чудовища жизни».

Писемскій, съ своей стороны, отвѣчалъ на всѣ сдѣланныя ему привѣтствія:

«Милостивыя государыни и милостивые государи! Благодарю за ваше привѣтствіе. Волнующія меня въ настоящую минуту чувствованія мѣшаютъ мнѣ высказать то, что̀ хотѣлось бы сказать. Ограничусь немногими словами. Пройденный мною двадцатипятилѣтній литературный путь, какъ и путь товарищей моихъ по дѣлу, былъ не легокъ. Сознавая всю слабость и недостаточность трудовъ моихъ, я считаю себя вправѣ сказать только то, что я никогда въ нихъ не становился ни подъ чье чужое знамя, худо-ли, хорошо-ли, но всегда писалъ то, что̀ думалъ и чувствовалъ, и ни для какихъ внѣшнихъ и суетныхъ цѣлей не ломалъ и не насиловалъ моего пониманія людей и событій и маленькихъ авторскихъ способностей, которыя даны мнѣ отъ природы. Единственной путеводной звѣздой во всѣхъ трудахъ моихъ было желаніе сказать *моей странѣ, по крайнему* разумѣнію, хотя можетъ быть и нѣ-

сколько суровую, но все-таки *правду* про нее самое. Насколько я успѣвалъ въ этомъ случаѣ—не мое дѣло судить».

Послѣ чтенія рѣчей начались разныя привѣтствія. Краткій адресъ петербургскихъ литераторовъ былъ подписанъ двадцатью семью лицами, между прочими: Бильбасовымъ, Загуляевымъ, Костомаровымъ, Краевскимъ, С. Максимовичемъ, О. Миллеромъ, А. Потѣхинымъ, Я. Полонскимъ и Черняевымъ. Онъ заканчивается пожеланіемъ, чтобы талантъ Писемскаго продолжалъ «служить общему дѣлу съ присущей ему правдивостью и силой, не тревожась случайными и преходящими недоразумѣніями».

Подъ телеграммой петербургскихъ литераторовъ подписаны: Барсуковъ, Бычковъ, Бѣловъ, Гончаровъ, Достоевскій, Кашпиревъ, Ап. Майковъ, Л. Майковъ, Мещерскій, Полонскій, Подгорицкій, Пуцыковичъ, Праховъ, Филипповъ, Страховъ.

Кромѣ того получены телеграммы отъ Щебальскаго, И. А. Гончарова и И. С. Тургенева.

Послѣдній годъ жизни Писемскаго былъ ознаменованъ участіемъ въ московскихъ празднествахъ по случаю открытія памятника Пушкина.

«Писемскій,—свидѣтельствуетъ объ этомъ г. Н—въ въ своихъ воспоминаніяхъ въ «Странѣ»,—участвовалъ въ публичныхъ лекціяхъ общества любителей русской словесности, былъ вообще въ духѣ и отпускалъ свои характерныя остроты. Такъ, по поводу сильныхъ хлонотъ, которыми были заняты распорядители пушкинскаго праздника, объ одномъ изъ этихъ распорядителей, дѣйствительно выбивавшимся изъ силъ, А. Ѳ. разсказывалъ: «Ю. до того растерялся, что ему скажешь — здравствуйте! а онъ обругается; подашь ему руку, а онъ подастъ тебѣ чертъ знаетъ что!» Вообще во время этихъ праздниковъ Писемскій былъ очень оживленъ и остроуменъ, несмотря на то, что передъ этимъ онъ былъ боленъ. Но это было уже послѣднее оживленіе».

Еще за мѣсяцъ до открытія памятника Писемскій писалъ французскому переводчику своихъ произведеній, Дерели:

«Къ великому огорченію моему, я, по моимъ недугамъ, не могу принять особенно энергическое участіе въ смыслѣ внѣшнихъ распоряженій по торжеству, но во всякомъ случаѣ приду на него съ сердцемъ, исполненнымъ радости, и съ благоговѣніемъ преклонюсь предъ статуей моего великаго учителя, произведеніями котораго я еще съ четырнадцатилѣтняго возраста питался, какъ *манной небесной*».

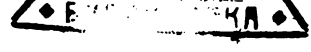
Восторженное настроеніе это росло по мѣрѣ приближенія торжества. «Собственно я,—писалъ Писемскій г-жѣ Бларамбергъ,—лично весь поглощенъ предстоящимъ празднованіемъ открытія памятника Пушкину. Это, положа руку на сердце, могу я сказать *мой праздникъ*, и такой уже для меня больше въ жизни не повторится».

Но во время самыхъ торжествъ энергія Писемскаго истощилась. «На одномъ изъ засѣданій, по словамъ Анненкова, этого замѣчательнаго, какъ по характеру, такъ и по сущности своей, юбилейнаго торжества Писемскій довольно вяло прочелъ свою рѣчь о поэтѣ, котораго обожалъ, какъ великаго реалиста, открывшаго въ душѣ и нравственныхъ сторонахъ русскаго человѣка еще неподозрѣваемыя сокровища чувства и своеобычнаго ума. Рѣчь его не имѣла успѣха, будучи лишена блестящей аргументаціи, какая требуется отъ публичнаго слова, но ее выслушали съ уваженіемъ къ мѣсту и авторитету оратора. Затѣмъ Писемскій уже не принималъ участія въ пиршествахъ и собраніяхъ, сопровождавшихъ открытіе памятника Пушкину.

Конецъ жизни Писемскаго омрачился новымъ несчастіемъ: безнадежною болѣзнью второго сына—Павла, читавшаго въ Московскомъ университетѣ гражданское судопроизводство. Эта катастрофа окончательно надломила силы Писемскаго. По свидѣтельству Анненкова, «Писемскій слегъ въ постель подъ дѣйствіемъ одного изъ тѣхъ мрачныхъ припадковъ недовольства и мнительности, которые стали находить на него все сильнѣе и чаще послѣ семейной катастрофы. По признанію жены покойнаго, она не ожидала близкаго конца и думала, что припадокъ минуется, какъ всѣ предшествовавшіе ему и разрѣшавшіеся обыкновенно грустью и физическимъ изнеможеніемъ. Но это было уже послѣднимъ проявленіемъ истрадавшагося организма, лишеннаго всѣхъ нужныхъ силъ сопротивленія, и перешло въ предсмертную агонію. Января 21-го 1881 г. Писемскаго не стало. Полагая, что мы вполнѣ достаточно опредѣлили характеръ и значеніе таланта Писемскаго при обзорѣ лучшихъ его произведеній, считаемъ нелишнимъ завершить біографію слѣдующей характеристикой его П. В. Анненкова:

«Это былъ замѣчательный художникъ и въ то же время *простой* человѣкъ въ благороднѣйшемъ смыслѣ слова. Сколько симпатій, *неудержимаго* влеченія къ человѣку, добрыхъ чувствъ и мыслей пробуждаетъ *одинъ этотъ* эпитетъ: «простой человѣкъ», когда онъ прилагается *къ дѣятелю*, имѣвшему общественное значеніе! Писемскій заслужилъ *его вполнѣ*. Въ нашъ вѣкъ составленія огромныхъ состояній,

какъ и огромныхъ репутацій, онъ оставался равнодушнымъ къ подстрекательствамъ честолюбія и тщеславія. Онъ, наоборотъ, мысленно участвовалъ въ энтузіазмѣ общественнаго мнѣнія, когда оно присуждало награды и апоѳеозы истинной заслугѣ и достоинству, не думая вовсе о своихъ правахъ на такое-же отличіе. Мы уже сказали, что всякое подобіе зависти было чуждо душѣ его, какъ равно и всякое усиліе обратить на себя вниманіе публики, выступивъ кандидатомъ на ея исключительное благоволеніе. Свою ношу таланта, изобрѣтательности, наблюденія онъ несъ чрезвычайно скромно втеченіи всей жизни, не имѣя и въ помыслѣ выдавать ее за вмѣстилище необычайныхъ открытій и довольствуясь той оцѣнкой ея, которую получалъ вседневно и обыкновеннымъ путемъ хладнокровной трезвой критики. Обликъ его перейдетъ совершенно яснымъ и опредѣленнымъ къ потомству и не помрачится никакими послѣдующими разъясненіями и разоблаченіями, потому что всѣ разъясненія и разоблаченія онъ испыталъ и перенесъ уже при жизни лица, которое его носило. Несмотря на обычную ему рѣзкость выраженія въ мысляхъ и образахъ, Писемскій былъ еще добродушнѣйшимъ человѣкомъ своего времени. Особенно-же выдѣлялось одно его качество. Онъ считалъ великимъ бѣдствіемъ на землѣ—несправедливость, оказанную человѣку,—и притомъ бѣдствіемъ столько-же для потерпѣвшаго отъ нея, сколько и для того, кто въ ней провинился. Мы могли-бы привести нѣсколько примѣровъ, когда наговоры какого-либо дружескаго кружка на намѣченную имъ жертву, какъ часто бываетъ съ ними, погружали его въ недоумѣніе, почти въ ужасъ и заставляли морально страдать, отыскивая ихъ причины и доводы... Если болѣзни, слабости, паденія Писемскаго приравнивали его къ толпѣ, то съ другой стороны онъ раздѣлялъ съ нею и ея гнѣвъ, и негодованіе на людскую несправедливость, ея презрѣніе и отвращеніе къ торжеству нравственнаго безобразія на свѣтѣ и ея любовь къ единственному оружію, находящемуся въ ея распоряженіи—насмѣшкѣ, карикатурѣ, памфлету. Мы находимъ, что *хорошій* человѣкъ такого рода заслуживаетъ стать рядомъ съ тѣми героическими фигурами, какія по справедливости воздвигало наше общество, въ своемъ умственномъ пантеонѣ, такихъ людей, которыхъ оно гордится и заслугу которыхъ высоко цѣнитъ».



Популярно-научныя книги.

Пессимизмъ. Сочиненіе *Джемса Селли.* Популярный обзоръ всѣхъ пессимистическихъ ученій. Пер. съ англійскаго. Цѣна **1** р. **50** к.

Философія Герберта Спенсера, въ сокращ. изложеніи *Коллинса.* Ц. **2** руб.

Законы подражанія. *Тарда.* Ц. **1** р. **50** к.

Сохраненіе здоровья. Гигіена въ прим. къ обыден. жизни. *Д-ра Эйдама.* Съ 7 рис. Ц. **40** к.

Гигіена женщины. Д-ра *М. Тило.* Ц. **40** к.

Гигіена семьи. *Гебера.* Пер. съ нѣм. Ц. **50** к.

Гигіена дѣтства. Д-ра *Перье.* Ц. **50** к.

Берегите легкія! Гигіеническія бесѣды д-ра *Нимейера.* Съ 30 рис. Ц. **75** к.

Уходъ за больн. дѣтьми. Д-ра *Перье.* Ц. **50** к.

Уходъ за больными въ семьѣ. Д-ра *Энцлера* Ц. **50** к.

Дѣтскій докторъ. Популярное руководство для матерей и воспитателей. *Д-ра Варгіо.* Перев. съ франц. подъ редакціей проф. *Пономарева.* Со мног. рис. Ц. **1** р.

Записки желудка. Съ англійскаго. Ц. **50** к.

Усталость. Бесѣды проф. *А. Моссо.* Перев. *Манасеиной.* Съ 30 рис. Ц. **1** р. **25** к.

Бактеріи и ихъ роль въ жизни человѣка. *Д-ра Мизулы.* Съ нѣмецк. Съ 35 рис. Ц. **1** р.

Дарвинизмъ. *Э. Ферьера.* Переводъ съ франц. Популяр. излож. ученія Дарвина. 2 изд. Ц. **60** к.

Что сдѣлалъ для науки Ч. Дарвинъ? Популярный обзоръ его трудовъ, составленный *Гексли, Гейки, Дайеромъ* и *Романесомъ.* Съ портр. Дарвина Ц. **75** к.

Рабочій вопросъ. Его значеніе въ настоящемъ и будущемъ. *А. Ланге.* Ц. **1** р. **25** к.

Фабричная гигіена. *Святловскаго.* 153 рис. **4** р.

Ручной трудъ. Составилъ *Графиньи.* Руководство къ домашнимъ занятіямъ ремеслами. Перев. съ франц. Съ 400 рис. Ц. **1** р. **50** к. Въ папкѣ **1** р. **75** к. Въ переплетѣ **2** р.

Разсказы о небѣ. *К. Фламмаріона.* Перев. съ французскаго. Съ 64 рис. Ц. **50** к.

Предсказаніе погоды *Г. Далле.* Переводъ съ франц. Съ 40 рис. Ц. **1** р. **25** к.

Свѣтъ Божій. Популярн. очерки міровѣдѣнія. 6-е изд., значител. исправл., Съ 65 рис. Ц. **30** к.

Звѣздный міръ. Популярно-астрономическія бесѣды. *Предтеченскаго.* Со мн. рис, Ц. **30** к.

Общедоступная астрономія. *К. Фламмаріона.* Перев. съ франц. Съ 100 рис. 3-е изд. **80** к.

Который часъ? *Н. Вавилова.* Популярн. руководство для провѣрки часовъ и для устройства солнечн. часовъ. Съ 13 рис. Ц. **30** к.

Эйфелева башня. *Тимандье.* 34 рис. Ц. **50** к.

Электричество въ природѣ. *Жоржа Дари.* Съ французскаго. Съ 102 рис. Ц. **1** р. **25** к.

Электрическіе элементы. Соч. *Ніодв.* Перевелъ *Головъ.* Со мног. рисунками. Ц. **2** р.

Электрическіе аккумуляторы. *Э. Ренье.* Перевелъ *Головъ.* Съ 76 рис. Ц. **1** р. **25** к.

Электрическое освѣщеніе. Составилъ *В. Чиколевъ.* Съ 151 рис. Ц. **2** р. **50** к.

Домашнее электрическое освѣщеніе и уходъ за аккумул. *Сэломенса.* 81 рис. Ц. **1** р. **25** к.

О безопасности электрическаго освѣщенія *В. Чиколева.* Ц. **25** к.

Электричество и магнитизмъ. *А. Гано* и *Ж. Минерье.* 340 рис. Ц. **1** р. **50** к.

Популярныя лекціи объ электричествѣ и магнитизмѣ. *О. Хвольсона.* Съ 230 рис. Ц. **2** р.

Главнѣйшія приложенія электричества. *Э. Госпиталье.* Со множ. рис. 2-е изд. Ц. **2** р. **50** к.

Электрическая передача энергіи (передача силы на разстояніи) *Каппа.* Съ 50 рис. Ц. **1** р. **60** к.

Электричество въ домашнемъ быту. *Э. Госпиталье.* Со множествомъ рис. 2-е изд. Ц. **2** р.

Электрическіе звонки. *Боттона.* Со свѣдѣніями о воздушныхъ звонкахъ. 114 рис. Ц. **1** р.

Телефонъ и его практическія примѣненія. Сочиненіе *Майера* и *Присса.* Перев. *Д. Головъ.* Съ 293 рис. Ц. **2** р. **50** к.

Единство физическихъ силъ. Опытъ популярно-научной философіи. *Секки.* 2-е изд. Ц. **2** р. **50** к.

Наука о жизни. Популярная физіологія человѣка. *В. Лункевича.* Съ 91 рисунк. Ц. **1** р.

Экстазы человѣка. *П. Мантегацца.* Переводъ съ 5-го итальян. изд. Ц. **1** р. **50** к.

Умственныя эпидеміи. *Реньяра.* Переводъ *Эл. Зауергъ.* Съ 110 рис. Ц. **1** р. **75** к.

Психологія вниманія. Д-ра *Рибо.* Ц. **40** к.

Психологія великихъ людей. *Жоли.* 3-е изд. **50** к.

Современные психопаты. *Кюллера.* Ц. **1** р. **50** к.

Геніальность и помѣшательство. *Ц. Ломброзо.* Съ портр. автора и рисунк. 2-е изд. Ц. **1** р.

Міръ грезъ. *Д-ра Симона.* Сновидѣнія, галлюцинаціи, сомнамбулизмъ, гипнотизмъ. Ц. **1** р.

Физіологія души. *А. Герцена,* проф. Лозанскаго университета. Переводъ съ франц. Ц. **1** р.

Физіологическая психологія. *Цигена.* Перев. подъ редакціей проф. *В. Чижа.* Ц. **75** коп.

Преступная толпа. Опытъ коллективной психологіи. *С. Сиведе.* 116 стр. Ц. **30** к.

Первобытные люди. *Дебевера.* Перев. съ франц. и дополн. *М. Энгельгардтъ.* Съ 84 рис. Ц. **1** р.

Соціальная жизнь животныхъ. *Эспинаса.* Перев. съ франц. *Ф. Павленковъ.* Ц. **2** р. **50** к.

Жизнь на Сѣверѣ и Югѣ (отъ полюса до экватора). *А. Брэма.* Дополненіе къ его сочин. „Жизнь животныхъ". Со многими рис. Ц. **2** р.

Вредныя полевыя насѣкомыя. *Иверсена.* Съ 43 рис. Ц. **80** к.

Хлѣбный жукъ. Съ 3 рис. Барона *Н. Корфа* Ц. **10** к.

Воздушное садоводство. *Н. Жуковскаго.* Съ 73-мя рис. Изд. 2-е. Цѣна **60** к.

Школьный садоводъ. *А. Волотовскаго.* Ц. **20** к.

Огородничество. Практич. наставл. для народн. учителей. *Ф. Шубелера.* Съ 137 рис. Ц. **60** к.

Домашній опредѣлитель поддѣлокъ. *А. Алмедингена.* Ц. **60** к.

На всякій случай! Научно-практическіе совѣты сельскимъ хозяевамъ. *А. Альмедингена.* Два тома. Цѣна каждаго **50** к.

Азбука домоводства и домашней гигіены. Сост. *М. Климa.* Ц. **75** к.

Съ февраля 1894 года начала издаваться въ С.-Петербургѣ
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
СКАЗОЧНАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА.

Въ составъ этой библіотеки войдутъ избранныя сказки всѣхъ культурныхъ народовъ. Всѣхъ книжекъ предполагается выпустить отъ **150** до **200**. Въ каждой книжкѣ помѣщается одна большая или нѣсколько мелкихъ сказокъ, иллюстрированныхъ болѣе или менѣе значительнымъ количествомъ рисунковъ (отъ 5 до 15 на книжку). Цѣна книжекъ отъ **5** до **15** коп. До марта 1894 г. вышло **30** книжекъ, въ которыхъ помѣщены доступныя для дѣтей сказки Андерсена. Новыя книжки будутъ выходить по **4** въ мѣсяцъ.

Stanford University Libraries
3 6105 124 436 135

UR 7
3
P

Stanford University Librarie
Stanford, California

Return this book on or before date due.

Съ осени 1890 года издается задуманная Ф. Павленковымъ біографическая библіотека подъ заглавіемъ:

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Въ составъ библіотеки войдутъ біографіи 200 лицъ. Каждому изъ нихъ посвящается особая книжка, объемомъ отъ 80 до 100 и болѣе страницъ, снабженная портретомъ. Къ біографіямъ путешественниковъ, художниковъ и музыкантовъ прилагаются кромѣ того карты, снимки съ картинъ и ноты. Ежемѣсячно выпускаются 4 книжки.

Цѣна каждой книжки отдѣльно – 25 к.

До 1 февраля 1894 г. вышли отдѣльными книжками 136 біографій слѣдующихъ лицъ:

Протопопа Аввакума, Андерсена, Аристотеля, Байрона, Бентама и Беккаріа, Бёрне, Бэкона, *Бѣлинскаго*, *Карла Бэра*, Беранже, Бетховена, *Богдана Хмельницкаго*, Боккачіо, Бомарше, *Боткина*, Джіордано Бруно, Рихарда Вагнера, Леонардо-да Винчи, *Волкова* (основателя русскаго театра), Вольтера, *Воронцовыхъ*, Галилея, Гарвея, Гарибальди, Гаррика, Гегеля, Гейне, Гете, Гладстона, *Глинки*, Говарда, *Гоголя*, *Грибоѣдова*, Григорія VII, А. Гумбольдта, Гуса, Гутенберга, Гюго, Дагерра и Ніэпса, Даламбера, Данте, Дарвина, *Даргомыжскаго*, *кн. Дашковой*, *Демидовыхъ*, *Державина*, Дефо, Дженнера, Диккенса, *Достоевскаго*, Жоржъ-Зандъ, *Іоанна Грознаго*, Кальвина, *Канкрина*, Канта, *Кантемира*, *Каразина*, (основателя харьк. университета), Карлейля, Кеплера, Колумба, Конфуція, *Колпцова*, Коперника, *Барона Н. А. Корфа*, *Крамского*, Кромвеля, *Крылова*, Кювье, Лавуазье, Лапласа и Эйлера, Лейбница, *Лермонтова*, Лессепса, Лессинга, Ливингстона, Линкольна, Линнея, Лойолы, Локка, *Ломоносова*, Ляйелля, Маколея, Мейербера, Микель-Анджело, Милля, Мицкевича, Мольера, Монтескье, Томаса Мора, Моцарта, *Никитина*, *Никона*, *Новикова*, Ньютона, Роберта Оуэна, Паскаля, Песталоцци, *Перова*, *Пирогова*, *Писарева*, *Писемскаго*, *Потемкина*, *Пржевальскаго*, Прудона, *Пушкина*, Рабле, Рафаэля, Ришелье, Сакіа-Муни (Будды), *Салтыкова*, Савонаролы, Свифта, *Сенковскаго*, В. Скотта, Адама Смита, *Сперанскаго*, Стефенсона и Фультона, *Струве*, Стэнли, *Серова*, Теккерея, Торквемады, Уатта, *Ушинскаго*, Фарадея, *Фонвизина*, Франклина, Цвингли, *Шевченко*, Шиллера, Шопенгауэра, Шопена, Шумана, *Щепкина*, Эдисона и Морзе, Джоржа-Эліота, Юма, *Ѳедотова*.

Приготовляются къ печати біографіи слѣдующихъ лицъ:

Аксакова, *Александра II*, Бальзака, Баха, Бисмарка, Бокля, Вашингтона, *В. В. Верещагина*, Вирхова, Гайдна, *Гончарова*, Гракховъ, *Грановскаго*, Декарта, Дидро, *Добролюбова*, *Екатерины II*, *Жуковскаго*, *Иванова*, *Карамзина*, *Ковалевской*, Амоса-Коменскаго, Кондорсе, Конта, *Н. И. Костомарова*, Кука, *Лобачевскаго*, Лютера, Магомета, Макіавелли, *Меншикова*, Меттерниха, Мильтона, Мирабо, Мольтке, Т. Мюнцера, Наполеона I, *Некрасова*, *Островскаго*, Пастера, *Петра Великаго*, Платона, *Н. Полевого*, *Радищева*, Рембрандта, Ренана, Рикардо, Ротшильдовъ, Руссо, Сенеки, Сервантеса, *Скобелева*, Сократа, *С. Соловьева*, Спенсера, Спинозы, *Станкевича*, *Суворова*, *Льва Толстого*, *Тургенева*, *Успенскаго*, Франциска-Ассизскаго, Фридриха II, Цицерона, *Чайковскаго*, Шекспира, *А. Н. Энгельгардта*, и др.

Курсивными буквами обозначены имена русскихъ дѣятелей.

Главный складъ въ книжномъ магазинѣ П. Луковникова (Спб. Лештуковъ пер., № 2).

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 17 Января 1894 г.